



СТРАНА И МИР

• das land und die welt • our country and the world • le pays et le monde • el pais y el mundo •

- САХАРОВ В МЕДИЦИНСКОМ ЗАСТЕНКЕ
- КТО ТАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
- РОДИНА МИХАИЛА КУКОБАКИ
- ВСЕ КАНДАЛЫ МИРА
- ГЛАВНЫЙ СЮЖЕТ ПЯТИЛЕТКИ
- НАЗВАТЬ ЛОПАТУ ЛОПАТОЙ
- ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ДВАДЦАТОГО СЪЕЗДА
- СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
- БРЕВНО ГИМЕНЕЯ
- НЕБОЖИТЕЛЬ В ОТСТАВКЕ
- ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ САМОЕ ВАЖНОЕ
- ТРИ ЛИЛИИ НА МОГИЛЕ ШОСТАКОВИЧА
- ЭКСКУРСИЯ В ПОРТ-САИД
- СОБРАТЬ ВСЕ КНИГИ БЫ ДА СЖЕЧЬ

Ежемесячный общественно-политический, экономический и культурно-философский журнал "Страна и мир" издается в Мюнхене под редакцией Кронида Любарского, Бориса Хазанова и Вадима Меникера. Оформление Б.Рабиновича. Представители журнала: в США Марк Поповский, в Израиле — Рафаил Шапиро. Корреспонденты журнала: Е.Фишер (Бонн), В.Кучинский, Г.Ферон (Париж), М.Филлимор (Лондон), Б.Вайль (Копенгаген), Я.Руссакис (Афины), Б.Шрагин (Нью-Йорк), П.Ростин (Рабат). Стоимость годовой подписки в Европе 60 нем. марок (25 ам. долларов), в США, Канаде и Израиле — 35 ам.долл., в Австралии, Новой Зеландии и на Тайване — 45 ам.долл. Стоимость доставки включена в подписную плату; в неевропейские страны журнал доставляется подписчикам авиапочтой. Цена одного номера — 6 н.м. Подписка принимается перечислением на банковский или почтовый счет, а также в виде чека, высылаемого в редакцию, с добавлением 2 ам. долл. Мнение, выраженное автором, может не совпадать с точкой зрения редакции. Все права сохраняются за авторами. Непринятые рукописи возвращаются с письменной мотивировкой.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Политический дневник	1
Михаил Кукобака— рабочий, публицист, политический заключенный	11
Вести из СССР	23
<i>Р.Бахтамов. Искусство называть вещи не своими именами</i>	<i>31</i>
<i>Станислав Ежи Лец. Там, где запрещено смеяться</i>	<i>44</i>
<i>С.Черток. Из всех искусств самое важное</i>	<i>45</i>
<i>Дым Отечества</i>	<i>60</i>
<i>Г.Орлов. При дворе торжествующей лжи</i>	<i>62</i>
<i>Т.Тораньская. Они. Продолжение</i>	<i>76</i>
<i>М.Поповский. Кое-что о книгах</i>	<i>87</i>
<i>И.Шамир. Порт-Саид</i>	<i>91</i>
<i>М.Лемхин. Первый блин</i>	<i>92</i>

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ: АДРЕС И ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ИЗМЕНИЛСЯ.

Das Land und die Welt e.V., Sendlinger Str. 37, D-8000 München 2, Federal Republic of Germany
Tel. (089) 2607491; telex 5218017 unbtd.
Deutsche Bank München, Konto 331 9613 (BLZ 700 700 10)
Postgiroamt München, Konto 223981-804 (BLZ 700 100 80)

СТРАНА И МИР



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Бывают времена, когда диктатуры валяются одна за другой, словно пораженные эпидемией. Так было в середине 70-х годов, когда в течение нескольких месяцев Греция, за ней Португалия, а потом и Испания восстановили у себя демократию. Нынешний год в этом отношении начался тоже неплохо.

В предыдущем номере журнала мы уже писали о событиях в Республике Гаити и на Филиппинских островах. И там и здесь развязка наступила неожиданно быстро и, что всего удивительнее, почти не сопровождалась кровопролитием.

На Филиппинских островах сторонники лидера оппозиции Корасон Акино обнаружили фальсификацию выборов, и сопровождаемый проклятиями своего народа Маркос принял предложение американцев добровольно отказаться от власти.

Приятная сторона событий на Гаити и на Филиппинах состоит в том, что вопреки утверждению скептиков выяснилось: политика не всегда дело грязное, моральные начала могут торжествовать и в политической борьбе. Жан-Клод Дювалье, а за ним и Маркос пали в конечном счете от того, что делали политический аморализм основой своей системы. Отсутствие совести долгое время было сильной стороной их режима. Но беда диктатуры оказывается подчас в том, что единовластный тиран теряет представление о границах, которых ему не следует преступать. Полагая, что он контролирует все и вся, он в конце концов забывает о реальности, и в какой-то момент, на крутом повороте истории, власть выскальзывает из его рук.

В Маниле произошла смешная и в то же время поучительная сцена. Незадолго до падения Маркос еще раз пожелал продемонстрировать свое могущество. Вместе с членами своего клана он позировал перед телевизионными камерами. Но передача так и не состоялась: технический персонал попросту отказался передавать изображение диктатора в эфир. Надо полагать, что у бывшего филиппинского, как и у бывшего гаитянского фюрера теперь будет достаточно времени для того, чтобы поразмыслить над фразой, которую любил повторять Уинстон Черчилль: "Можно один раз обмануть миллион человек. Можно миллион раз солгать одному человеку. Но нельзя безнаказанно миллион раз лгать миллионам людей".

Но в то время, как честные люди на Гаити и Филиппинах радуются торжеству справедливости, нельзя умолчать и о таком факте: новые режимы, призванные восстановить демократию в обеих странах, не отказались от услуг людей, игравших видную роль при рухнувших ныне режимах. Так, новая верхушка в Гаити за немногими исключениями состоит из лиц, верой и правдой служивших "пожизненному президенту". То же самое, правда, в несколько усложненном виде имеет место и на Филиппинах. Там решающую роль в подрыве позиции Маркоса сыграли два человека: командующий вооруженными силами генерал Рамос и министр обороны Хуан Понсе Энриле. Оба они многие годы служили свергнутому президенту. Энриле был тем самым лицом, по инициативе которого в 1972 г. Маркос добился диктаторских полномочий.

Вплоть до января 1986 г. казалось, что стоит режиму Маркоса рухнуть, и оба деятеля получат по заслугам. Между тем, они-то и столкнули этот режим в пропасть, объявив, что г-жа Акино, и только она, является законным главой государства. Они же лишили экс-диктатора поддержки со стороны армии, которая, может быть, дала бы ему возможность какое-то время еще продержаться, не уступая требованиям большинства народа. Ныне Рамос и Энриле обрели у себя на родине невероятную популярность, заняли при новом демократическом строе ключевые посты.

Вероятно, у кого-то ситуация эта вызовет брезгливое чувство. Но можно взглянуть на нее и по-другому. Если бы общество попыталось вырвать власть у президента силой, неизбежно пролились бы реки крови, и неизвестно еще чем кончилась бы борьба. С этой точки зрения, разумнее сотрудничество с людьми из окружения тирана, которые готовы обеспечить мирный переход от тирании к свободе. Конечно, если мы не имеем дело с очевидными преступниками.

Вспомним в этой связи, что произошло немногим более десяти лет назад в Испании. Еще при жизни генерала Франко его наследникам было объявлено, что в будущем страна станет королевством и править будет король Хуан Карлос. Следуя логике непримиримых противников режима Франко, очевидно, нужно было изгнать короля в 1975 г. Испанцы, однако, благоразумно предпочли сохранить монархию. Сегодня у них нет оснований жалеть об этом: король возродил демократию. Не странно ли: монарх выступающий в роли инициатора демократических реформ? Ничуть. Королевская власть во многих странах Европы сопутствует демократическим формам правления. Кстати сказать, именно Хуан Карлос спас демократию в Испании в тот момент, когда тамошнее офицерство попыталось организовать *pronunciamento* – военный переворот.

И, наконец, последнее замечание по этому поводу: и на Филиппинах, и в Гаити США пожертвовали бывшими правителями, не побоявшись, что возникший политический вакуум заполняют коммунисты. Как ни странно, на этот рискованный, но разумный шаг пошел президент Рейган, который в свое время упрекал своего предшественника Картера за то, что тот принес в жертву иранского шаха. В новых условиях, однако, Рейган показал себя реалистическим и разумным

политиком: пользуясь своим авторитетом, он привел конфликт на Филиппинах к гораздо лучшему результату, чем его предшественник – в Иране. Президент США стал на сторону морального большинства и по сути спас Филиппины от гражданской войны.

Но действовать таким образом удастся, к сожалению, далеко не всем руководителям стран Запада. Примером вопиющего аморализма в политике является то, что вот уже 20 лет происходит в африканской Республике Чад. Двадцать лет подряд правительство Франции пыгается как-то утихомирить страсти, пылающие в этой бывшей французской колонии. Французы неизменно оказывают поддержку "законному правительству" республики. Но так ли оно законно, это правительство, возглавляемое сегодня Хиссеном Хабре? Нынешний президент в пору, когда он добивался власти и руководил "партизанами", захватил в качестве заложницы французскую гражданку и убил другого гражданина Франции. В 1982 г. Хабре захватил власть методами, весьма далекими от демократических. В свое время французские власти поддержали главу очередного "законного правительства", некоего Гукуни Уэддея. Теперь он руководит повстанцами, атакующими Хабре.

Чад – одна из искусственно возникших в результате колонизации стран. Почему нужно поддерживать ту или иную сторону, если страна является независимой? Такой риторический вопрос нередко задают советские газеты, давая читателям понять, что-де колониалисты не желают расставаться со своими бывшими вотчинами. Между тем, дело совсем в другом. Перекраивать уже существующую, пусть даже несовершенную политическую карту, означает создавать новые очаги конфронтаций и кровопролитий. Худой мир лучше доброй ссоры: лучше сохранить такую стабильность, какая есть. Вот почему Франция помогает своим бывшим колониям сохранять территориальный статус кво. Это не единственное, но необходимое условие, позволяющее большей части африканских стран не рухнуть в пучину анархии.

Ситуация оказывается еще более тяжелой, когда тот или иной африканский режим, чтобы как-то облагородить в глазах мировой общественности свои племенные распри, объявляет себя марксистско-ленинским и тем самым втягивает полуголодное и полуграмотное население

в систему мирового конфликта между Западом и Востоком. Что остается при этом делать западной державе, которая чувствует себя в ответе за судьбу бывшей колонии? Помогать какому-то Гукуну Уэддею, если в один прекрасный или, наоборот, ужасный день тот придет к власти? Или поддерживать его противников? Ответ на этот вопрос найти Парижу нелегко...

Кроме внутренней борьбы, Чад подвергается также атакам соседней Ливии. Ливийский диктатор полковник Каддафи вторгся в северную часть страны. Ненасытный Каддафи, очевидно, проглотил бы и всю страну, если бы Франция не перешла к решительным действиям. Французы разбомбили военный аэродром, построенный ливийцами на севере Чада. Французские эскадрильи взяли под защиту весь этот район. Можно ли было договариваться по-хорошему, мирным путем? Франция к этому стремилась. В сентябре 1984 г. она вывела свои войска из Чада. Ливия обязалась сделать то же самое. Несколько позже президент Миттеран и полковник Каддафи даже встретились для переговоров на острове Крит. Однако полковник очень скоро позабыл о данных им обещаниях, и все завертелось сызнова...

Перейдем к событиям в соседней с Ливией стране — Египте. Там политическая ситуация также неблагоприятна. В конце февраля президент Мубарак пережил самое большое потрясение со времени своего прихода к власти. Как это ни странно звучит, в Египте взбунтовались... полицейские. Сотни людей в мундирах государственной полиции поджигали гостиницы для иностранцев, чинили насилие над случайными прохожими, словом, занимались всем тем, с чем они сами по долгу службы должны бороться. Чтобы восстановить порядок, правительству пришлось вызвать войска. Из-за чего взбунтовалась полиция? Не исключено, что причиной был просто ложный слух: распространилось известие, что служба в полиции продлится до четырех лет. Это взбудоражило старших по возрасту полицейских, которые вот-вот надеялись демобилизоваться. Впрочем, скорее всего слух был только поводом. Кто-то явно направлял события в Египте. Похоже, что подлинными инициаторами бунта были мусульмане-фундаменталисты. Об этом свидетельствует много фактов и в частности то, что движение полицейских распространилось очень согласованно и стремительно. Смута такого масштаба едва ли могла быть делом лишь неболь-

шой кучки демагогов. Как бы то ни было, те, кто развязал мятеж, явно не отдавали себе отчета в тяжелых последствиях этого конфликта для страны и для них самих.

Волнения становятся массовыми, когда для них есть в обществе подходящая почва. К сожалению, такая почва в Египте имеется. Полиция рекрутируется почти исключительно из молодежи, принадлежащей к бедным слоям населения. Эти молодые люди обязаны охранять порядок в обществе, которое при Садате в значительной мере сблизилось с западной экономикой и западным либерализмом. Выгоду из этого курса извлекла лишь малая часть населения. Масса же народа остается крайне бедной. Разумеется, бедняков раздражает прозападная тенденция властей. Этим раздражением пользуются мусульмане-фундаменталисты, которые указывают на прозападный путь Египта, как якобы антимусульманский и антинародный. Отсюда и гнев полицейских, обращенный в первую очередь на отели близ пирамид, где останавливаются иностранцы.

В действительности, конечно, дело не в богатых отелях, а в том, что экономика Египта зашла в тупик. Тупиковая ситуация вызвана многими причинами и в частности положением в нефтедобывающей промышленности соседних арабских стран. Два миллиона египтян до недавнего времени работали за границей, прежде всего в нефтедобывающих государствах. В известной степени их труд и денежные переводы помогали стране избавиться от безработицы и несколько повысить жизненный уровень населения. Но теперь, когда арабские страны одна за другой все больше увязают в нефтяных кризисах (ведь цены на нефть на мировом рынке стремительно падают), они начинают увольнять рабочих нефтяных разработок и в первую очередь иностранцев. Египтяне-рабочие вынуждены вернуться домой. Здесь, лишенные работы и средств к существованию, они легко становятся тем социальным горючим, которое используют в своих неблагоприятных целях политические противники президента Мубарака. Поджигателями недовольства в настоящее время являются, в основном, вдохновляемые из Ирана фундаменталисты. В результате режим Мубарака, который, что бы о нем не говорили, является одним из немногих стабилизирующих факторов на Ближнем Востоке, оказался под угрозой. ●



ПОЛОЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

Политзаключенный в Польше находится в более комфортной психологической ситуации, чем его товарищ в любой другой стране коммунистического блока. Во-первых, он действительно сидит за оппозиционную деятельность, а не за какое-нибудь письмо родственнику за границей, как это бывало еще при Гомулке. Кроме того, узник знает, что общественность в Польше проявляет постоянный интерес к судьбе политзаключенных. Принудить власти к уступкам нелегко, но все же уровень репрессий в стране остается намного более низким, чем в других странах социалистического лагеря. В последние два года количество политзаключенных в Польше колеблется в пределах 150–600 человек. Квот здесь, конечно, не существует, однако, когда цифра приближается к верхнему пределу, власти стараются разрядить обстановку путем амнистии или каких-то ее суррогатов.

В подпольной печати много пишут о задержаниях, арестах и осуждениях, однако число действительно посаженных весьма невелико. Объясняется это большим количеством условных приговоров. Из 56 осужденных (по данным независимой печати) с середины ноября 1985 г. лишь 23 человека были приговорены к заключению. Остальные, проведя несколько месяцев под арестом, получили сроки условно. Среди осужденных трое получили от двух до четырех лет, 24 приговорены к срокам от трех месяцев до года, остальные — от 15 до 18 месяцев. Таким образом, средний срок составляет около 15 месяцев. Такая политика была избрана после июльской амнистии 1984 г. Раньше по среднему приговору давалось около трех лет, и условных приговоров было значительно меньше.

В феврале возникла опасность того, что политзаключенным станет Лех Валенса, обвиненный в оскорблении членов Центральной избирательной комиссии: он сообщил свою оценку процента участия в голосовании, отличающуюся от позднее опубликованных данных. Ясно, что целью властей была проверка популярности Валенсы: никто не верит, что члены комиссии обиделись по собственной инициативе. Зондаж оказался неудачным для властей: посыпалась лавина протестов со стороны правительств, политических деятелей, профсоюзных объединений и международных организаций. В прессе вновь стали множиться статьи на польские темы. В такой обстановке власти предпочли отступить.

Возможно, были проведены закулисные переговоры, в которых участвовала церковь, а также один из католических депутатов сейма Рышард Бендер. В результате в начале судебного заседания Валенса сделал заявление, что он никого не хотел оскорблять (не отказавшись при этом от своей оценки выборов), и прокурор снял иск. Руководитель "Солидарности" сказал, что это первый после переворота 13 декабря 1981 г. компромисс, на который пошли власти.

Надежды, порожденные прекращением "дела Валенсы", испарились быстро: через несколько дней Верховный суд вынес приговор по апелляции Фрасынюка, Михника и Лиса, в котором компромиссом уже не пахло. Фрасынюку подтвердили его три с половиной года, двум остальным сняли по шести месяцев. Таким образом, срок Михнику снижен до двух с половиной, Лису — до двух лет. Общественность беспокоит также положение Чеслава Белецкого (литературный псевдоним Мацей Полесский), основателя группы и издательства ЦДН ("Продолжение следует"), одного из виднейших деятелей оппозиции. В середине января его обвинение было переключено: формулировка "общение с представителем чуждой организации" была заменена "подготовкой насильственного свержения государственного строя", за что ему грозит смертный приговор. С 13 октября 1985 г. Белецкий проводит голодовку. Его кормят принудительно, он потерял в весе 30 кг и переведен в тюремную больницу. Длительную голодовку проводят также политзаключенные Эдмунд Красовский, Анджей Гурский и Влодзимеж Воронецкий. По этому делу 1600 человек направили Ярузельскому письмо протеста.

После военного переворота в Польше для проведения социологических исследований было создано большое учреждение, называемое Центром изучения общественного мнения. Видимо оно заменило такой же центр при Польском радио, который никогда не публиковал итогов своих работ. Новым учреждением руководит, как положено при военной хунте, профессор-полковник Станислав Квятковский. Его даже причисляют к либералам, поскольку он призывает к диалогу с оппозицией, критикует особо погромные выступления официальной печати против независимого движения и не раз высказывался в том смысле, что дубина — не единственное средство общения правительства с народом.

О настроениях поляков (на основании обследований общественного мнения в 1985 г.) Квятковский пишет следующее: "В Польше существует нечто от атмосферы игорного дома. После проигрыша мы ощущаем неуверенность, но надеемся на счастливую карту. Мы делаем новые ставки в надежде отыграться, но что будет, если вновь нас постигнет неудача? В обществе господствует неуверенное ожидание. Мало у нас таких, кто уверен в своем будущем, но мало и тех, кому все равно — будь что будет".

Квятковский полагает, что народ разобщен. По его мнению, материальные заботы отодвигают политические интересы на второй план. В 1984 г. 18% опрошенных оценили свое материальное положение как плохое, в 1985 г. — 25%. Плохую оценку экономическому положению страны дали соответственно 38 и 46% опрошенных в те же годы. Несколько улучшилась оценка политической ситуации. Ее признали хорошей 18% в 1984 г. и 28% — в 1985 г. Квятковский говорит об аполитизации польского общества: по данным его Центра только 16% опрошенных следят за политическими событиями.

Оппозиция безоговорочно отвергает данные Квятковского, что, по-видимому, не совсем верно. Неизвестно, фальсифицирует ли он данные, а если и так, делает ли он это сознательно. Сомнение вызывает представительность самой группы опрашиваемых. Логично предположить, что те, кто находится в явной или скрытой оппозиции режиму или же слишком им запуганы,

стараются не попадать в число опрошенных — это ведь дело добровольное. Поэтому некоторые выводы обследований Центра явно неправдоподобны; например, утверждения, что половина поляков одобряет аресты противников режима, или что поляки больше одобряют "миролюбивую политику Горбачева", чем политику Рейгана.

В "Тыгоднике Мазовше" опубликовано весьма интересное интервью с архивистом этого еженедельника, озаглавленное "Сколько же у нас крамолы?" Архивист пробует оценить количественные масштабы польской неподцензурной печати. Он считает, что в его архив попадает примерно 80% названий, появляющихся в стране. С момента введения военного режима он зарегистрировал 930 названий периодических изданий, из которых в настоящее время выходит около 400. По мнению архивиста, главной причиной исчезновения изданий были не налеты полиции, а "дела житейские" — усталость, внутренние конфликты.

Издания предприятий и учреждений нередко не выдерживали конкуренции крупных областных публикаций. Особенно это заметно в Варшаве. Снижается число еженедельников: эти издания, требуют крупного аппарата и больших организационных усилий. Сокращается количество изданий, выходящих вне больших городских центров, однако тиражи "центральных изданий" растут, уровень повышается. Заметно растет количество периодических публикаций молодежи, особенно учащихся и студентов. Растет число серьезных, толстых ежеквартальных изданий высокого класса и с четкими политическими тенденциями.

Что касается продолжительности существования рекорд держат варшавские еженедельники "Вядомосци" ("Ведомости" — 174 номера), "Воля" ("Свобода" — 166 номеров) и "Тыгодник Мазовше" ("Еженедельник Мазовии" — 156 номеров). Сопоставление данных за декабрь 1983 г. и декабрь 1985 г. показывает, что количество изданий за последние два года сократилось незначительно: с 428 до 404, в том числе еженедельников — с 82 до 76, ежемесячных журналов — со 135 до 127 и изданий предприятий и учреждений — со 134 до 109. Из этого чис-

ла 210 изданий непрерывно появлялись в течение последних двух лет.

Вряд ли доставит удовольствие властям профашистский переворот, происшедший в правлении Союза польских литераторов. Нынешний союз был создан после того, как военный режим распустил прежнюю писательскую организацию, руководство которой отказалось подчиниться унижительным требованиям властей. Крупнейшие польские литераторы находятся в явной или скрытой оппозиции правительству, и "союзные" дела их давно перестали интересовать. В Союзе, насчитывающем около 800 членов, управляют литераторы второго ранга и ниже. В конце февраля большая часть правления — коммунисты и попутчики во главе с председа-

телем правления Галиной Аудерской, бывшим членом Армии Крайовой, перешедшей к сотрудничеству с правительством, — была забаллотирована на выборах. На их место пришла группа, объединяющая коммунистов левацки-догматического толка с польскими шовинистами, антисемитами и ненавистниками Запада. Эта вторая группа в 60-е годы связывала свои надежды с Мочаром, затем они создавали "патриотическое объединение "Грюнвальд", а ныне издают еженедельник "Жечивистосць" ("Действительность"). Их герой — капитан безопасности Пиотровский, отсидевший, по их мнению, незаслуженный срок за убийство священника Е.Попелушко. Представитель правительства Урбан заявил о невмешательстве властей в дела союза.

В.Кучинский



СПОР О СТОЛИЦЕ

В конце января решилась судьба одного из замечательных достижений современного градостроительства — города Чандигарха. Он был построен в 1951—1956 гг. группой индийских и европейских архитекторов под руководством Ле Корбюзье как образцовый город-сад и административный центр той части исторического Пенджаба, которая осталась в составе Индии после раздела британского доминиона между Индией и Пакистаном. В результате этого раздела к Пакистану отошла многовековая столица Пенджаба Лахор.

Вопрос о новой столице для индийского Пенджаба, население которого говорит преимущественно на языке панджаби, вызвал кровавые столкновения. Дело в том, что, хотя большинство населения индийского Пенджаба испове-

дуют религию сикхов, многие являются также индуистами различных толков или мусульманами. В Чандигархе должны были быть удовлетворены противоречивые требования всех этих групп, найдено компромиссное решение. Округ Чандигарха был подчинен непосредственно центральному правительству в Дели.

Положение осложнилось в середине 60-х гг., когда индуистское население Пенджаба добилось отделения от штата сикхов и создания собственного штата Харьяна. Тогда было условлено, что Чандигарх останется общей столицей обоих штатов еще на 20 лет. За это время Харьяна должна построить или избрать себе новую столицу, после чего Чандигарх и его округ отходят к Пенджабу. Соглашение о точной дате перехода — дне независимости Индии 26 января 1986 г. — было достигнуто в июле прошлого года в ходе переговоров между премьер-министром центрального правительства Радживом Ганди и руководством наиболее влиятельной партии сикхов Акали Дал.

Новому правителю Индии было гораздо важнее добиваться какого-то урегулирования трудной проблемы сикхов, чем заботиться об интересах единоверцев — индуистов Харьяны, у которых нет такого традиционного центра, каким является для сикхов Амритсар. Главного министра Харьяны Бхаджана Лала бесцеремонно принудили подчиниться соглашению под угрозой тщательной проверки его дел на предмет коррупции. Лал требует (пока безуспешно), чтобы Пенджаб тоже выполнил часть своих обязательств по июльскому соглашению — проложил ороситель-

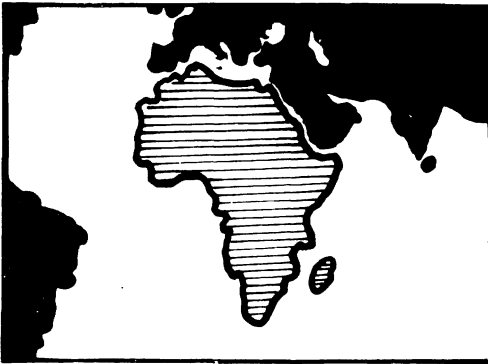
ный канал со своей территории в засушливые районы южной Харьяны и перевел ряд поселений индустов из Пенджаба в Харьяну.

Как уже сказано, все эти проблемы отступают на второй план перед необходимостью умиротворения сикхов. Передачу им Чандигарха пенджабские сикхи рассматривают как доказательство доброй воли центрального правительства. Однако положение в штате напряженное. Большинство жителей на выборах в сентябре прошлого года решительно предпочли умеренное руководство партии Акали Дал. Хотя ее лидер Лонговал был убит экстремистами в ходе предвыборной кампании, его преемник Сурджит Сингх Барнала твердо намерен стабилизировать положение в штате. Сейчас его главная задача – устранение экстремистских и террористических групп. Ему Чандигарх нужен для укрепления авторитета, чтобы приступить к ликвидации терроризма твердой рукой. Пока же поступают сообщения, что в начале января нападения террористов усилились, с территории Пакистана прибыли

вооруженные группы убийц. Экстремисты намеревались использовать передачу им Чандигарха как повод для массовых демонстраций протеста против центрального правительства и умеренного правительства штата.

Первая проба сил для Барналы прошла успешно. Ему удалось пресечь попытку радикального Всеиндийского союза студентов-сикхов перекрыть 10 января шоссе штата. В ходе этой акции и после нее около тысячи членов союза было арестовано, и правительство объявило о своем намерении держать их под арестом до завершения передачи Чандигарха. Одновременно Барнала распорядился ускорить работу комиссии по рассмотрению претензий соседнего штата. К моменту передачи Чандигарха комиссия обязана представить свои выводы правительству Пенджаба.

Можно полагать, что политика кнута и пряника позволит хотя бы временно приглушить один из самых тяжелых этнических конфликтов в истории постколониальной Индии.



СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ – СТРАНА АФРИКАНСКАЯ

Под шум разговоров о возможности частичного вывода "ограниченного контингента" кубинских войск из Анголы остается незамеченным тихое проникновение в эту страну – и на африканский континент вообще – северокорейских солдат, военных советников и технического персонала. Общее число северокорейцев, действующих сейчас по меньшей мере в дюжине африканских стран, составляет 8–10 тысяч

По секретному соглашению между Северной Кореей и правительством в Луанде, заключенно-

му два года назад, Ким Ир Сен послал в Анголу три тысячи солдат и тысячу военных советников. Наблюдатели уже отметили участие северокорейцев в боях с повстанцами УНИТА. Боевой дух и профессионализм корейских солдат находится в резком контрасте с деморализованными, плохо сражающимися кубинцами. По-видимому, предполагается со временем вообще заменить кубинцев северокорейцами. Часть кубинского контингента намечено перебросить в Никарагуа.

Пхеньян подписал секретные военные соглашения в 1980 г. с Угандой, в 1981 г. с Ганой, в 1982 г. с Ливией, в 1983 г. с Эфиопией, в 1984 г. с Буркина Фасо (бывшая Верхняя Вольта). В Пхеньяне создан свой собственный Институт им. Лумумбы – там он называется Институтом Ким Ир Сена. В рамках этого института проходят военную и политическую подготовку 3800 африканцев. Курсы читаются на английском и французском языках.

В такой сфере, как, например, обеспечение личной безопасности народных вождей, северокорейцы завоевали себе блестящую репутацию. А личной безопасностью вожди, пришедшие к власти при помощи штыков, весьма обеспокоены. Северокорейцы составляют уже преторианскую гвардию президентов Ганы, Бенина, Мадагаскара

и Сейшельских островов. В Эфиопии 150 специалистов из Пхеньяна заменили кубинцев, телохранителей эфиопского вождя Менгисту Хайле Мариам. Даже симпатизирующий Западу военный президент Того Г. Эйадема попросил северо-корейцев сформировать и обучить президентскую гвардию. Это решение может оказаться для тоголезского президента бомбой замедленного действия. Ведь Того и без того граничит с востока и запада с двумя странами, тесно связанными с Северной Кореей, – Бенином и Ганой. С севера к Того примыкает ближайший союзник Пхеньяна – Буркина Фасо, и на попытки вмешательства с севера Г. Эйадема уже жаловался.

Северокорейское политическое и военное присутствие в Африке началось еще в 70-е годы. Первыми открыли двери для новых азиатских друзей Танзания, Уганда, Замбия, Бурунди и Сомали (до того как эта страна сменила курс на прозападный). Для отработки "техники проникновения" северокорейцы нашли идеальную тренировочную площадку – Мадагаскар. Там они сформировали и обучили не только президентскую гвардию, но и десантные войска, а с 1976 г. – и политическую полицию.

Поворотным моментом для африканской политики Пхеньяна стал конец 70-х гг., когда Северная Корея начала массовое производство оружия на экспорт. Вскоре после этого, в октябре 1980 г., 6-й съезд Трудовой партии Кореи одобрил переориентацию северокорейской дипломатии в направлении более агрессивного ("наступательного") курса. Этот поворот совпал с возвышением "наследника", сына Ким Ир Сена – Ким Чон Ира. Северная Корея начала активно работать на "ослабление мирового империализма". Вместе с ней усилили свою подрывную деятельность в том же направлении Куба, Иран, Ливия и Сирия. Просочились сообщения, которые трудно проверить, что эти страны даже заключили секретное соглашение по координации своей деятельности в этой области. У политологов оно получило условное наименование "Антанта радикалов".

Сейчас страны советского блока благодаря усилиям северокорейцев получили надежные опорные площадки по всему африканскому континенту: на средиземноморском побережье – Ливия; на Красном море – Эфиопия; в южной части Индийского океана – Мадагаскар; на западном берегу – Ангола; в Гвинейском заливе – Гана и Бенин.

В 1980 г. тогдашний угандийский президент Милтон Оботе стал первым африканским лидером, подписавшим с Северной Кореей оборонное соглашение вскоре после того, как 45 тысяч танзанийских войск с помощью 500 северокорейских советников свергли Иди Амина. Правда, потом такая же судьба постигла и самого Оботе, но пока нет никаких оснований считать, что новый режим окажется враждебным советскому блоку: скорее наоборот, свергнутый Оботе оказался недостаточно лояльным.

В том же 1980 г. вождь Зимбабве Роберт Мугабе пригласил северокорейцев создать в национальной армии отборные части десантников, а также организовать центральную разведывательную службу. За два года северокорейцы также создали в Зимбабве самые крупные милиционные соединения к югу от Сахары – рабоче-крестьянскую красную гвардию численностью в 76 тысяч человек.

В начале 1983 г. 5-я бригада армии Зимбабве, которой было придано 750 северокорейцев, совершила кровавую расправу над протестовавшими крестьянами Матабелеленда. Было убито несколько тысяч человек.

Престиж Северной Кореи как военного советника африканских стран все время растет. На очереди – новые двусторонние соглашения.

Не просто ответить на вопрос, в какой мере корейское проникновение в Африку согласовано с Советским Союзом. Похоже, что Ким Ир Сен не расположен играть роль простого инструмента советской политики, как Фидель Кастро.

Корейский вождь убежден, что его "идеи чучхе" составляют единственную надежную основу всех национальных революций в странах Третьего мира. Эти "идеи" кажутся весьма привлекательными таким революционным вождям, как Джерри Ролингс в Гане или Томас Санкара в Буркина Фасо, которые не хотят быть во всем зависимы от Москвы. Тем не менее, ряд признаков показывает, что Советский Союз поддерживает большинство корейских инициатив в Африке.

В 1976 г. мадагаскарский президент Рацирака подписал с Москвой секретное военное соглашение. Одним из пунктов этого соглашения было то, что обеспечение президентской безопасности доверялось северокорейцам. Замена кубинских войск в Анголе и Эфиопии северокорейскими тоже не может быть произведена без советского согласия. Транспортировка оружия в

1983 г. из Пхеньяна в Валетту (Мальта) проходила через Москву: Мальта, военное соглашение которой с Северной Кореей было подписано в 1982 г., хотя и принадлежит к Европе, но политически тесно связана с Ливией.

Советскому Союзу выгодно иметь "социалистическую" страну, хотя и дружественную, но не столь очевидно идущую в фарватере его политики, чтобы заполнить вакуум, который в противном случае заполнил бы Запад. Марксистское Зимбабве, например, долгое время с недоверием относилось к авансам СССР: Р. Мугабе помнил, что Советский Союз поддерживал его соперника Джоилуе Нколю. Но Р. Мугабе немедленно и охотно принял предложение Северной Кореи о военном сотрудничестве.

В Северной Корее давно уже открыто пишут, что цель африканской политики этой страны — полностью устранить американское, французское и английское влияния в Африке, чтобы проложить путь к мировой революции. ●



США: РЕЛИГИЯ, ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Согласно статистике население Соединенных Штатов Америки значительно более религиозно, чем многие народы Европы. В стране самой мощной в мире индустрии, передовой науки и техники в 1984 г. 59,6% граждан постоянно посещали храмы. В 1985 г. это число возросло до 60,1%. Опросы общественного мнения, которые постоянно проводят американские газеты, радио и телевидение, показывают, что абсолютных атеистов в США менее 5%. В стране свободно действуют множество различных церквей. Обследование показало, например, что свыше 127 миллионов американцев посещают 90 тысяч

баптистских и евангелических молитвенных домов. Число католиков в стране не превышает 52 миллионов. Синагог в Америке (включая ортодоксальные, консервативные и реформистские) 3410, их посещают около 4 миллионов евреев. Отделившаяся в 1970 г. от Московской патриархии Американская православная автокефальная церковь насчитывает около 580 приходов с полумиллионом православных прихожан. Кроме того, в США имеется так называемая Синодальная церковь русского рассеяния с более чем 50 тысячами прихожан. Греческая православная церковь объединяет до полутора миллионов верующих. Существует также множество религиозных сект, опять-таки совершенно свободно открывающих двери своих храмов и молелен.

По Конституции церковь в США отделена от государства, вера — личное дело каждого гражданина. Тем не менее в последние годы проблема взаимоотношения государства и верующих становится все более острой. Опрашивая население, американские газеты задают такие, например, вопросы: "Считаете ли вы, что дети в школах должны произносить общую молитву перед началом занятий? Если нет, то допустима ли молчаливая молитва ("минута молитвенного молчания") в классе? Допустимо ли выставлять в общественных местах религиозные символы, например, иконы или скульптуру Христа в дни Рождества или менору в дни еврейских праздников?"

Тема эта стала в Америке особенно острой в период президентства Рейгана. Рональд Рейган — верующий человек, убежденный в благотворном влиянии веры на общество. Но для того чтобы вера могла проявить свою облагораживающую силу, надо, по мнению президента, дать церкви больше прав. По существу Рейган добивается сближения между церковью и государством. Его поддерживают многие. Высокий авторитет президента среди американцев опирается, в частности, на его религиозную позицию.

Однако очень многие противятся любым формам проникновения церкви в школу. Независимо от того, принадлежат ли они к христианам, иудаистам или буддистам, люди эти говорят, что введение обязательной общей молитвы в школе — шаг весьма рискованный, ибо он послужит разобщению между детьми из христианских семей и семей мусульманских, иудаистских и т. д.

Что будут делать дети из нехристианских семей во время общей молитвы? Молчать? Выходить из класса? Не посеет ли это религиозную рознь и шовинизм среди детей? Не возникнет ли дискриминации религиозных или, наоборот, атеистических чувств и убеждений? Эти вопросы беспокоят сегодня многих родителей, учителей, а также ряд общественных организаций в Соединенных Штатах.

Одним из результатов общественного беспокойства по вопросам веры явились судебные процессы, на которых отношения церкви и государства обсуждаются уже с точки зрения закона. Таких процессов в последнее время становится все больше. Надо заметить, что решения судов по этим вопросам весьма различны и даже противоречивы, что показывает насколько сложно применять конституционные нормы к ситуациям, связанным с религией. Верховный суд и Конгресс США приняли ряд решений, направленных как бы на сближение церкви и государства. Так разрешено принимать священнослужителей на государственную службу, что раньше запрещалось. Частные религиозные школы ныне получили право на финансовую помощь со стороны государства. В государственных школах разрешено во внеурочное время устраивать молитвенные собрания и изучать Библию.

Хотя Верховный суд и Конгресс – высшие государственные органы, некоторые общественные организации и газеты принялись критиковать их решения относительно использования школы "не по назначению". Использование государственных зданий для любых религиозных собраний газеты объявили противоречащими Конституции. Читать Библию и молиться каждый волен у себя дома, – заявляют противники решения Верховного суда. – Переноса эти сугубо религиозные действия в школу, мы рискуем превратить учебный класс в место религиозных споров, конфликтов и дискриминации детей с другими верованиями. Одновременно другие общественные группы выступают в газетах и по телевидению с требованием подчиниться решению Верховного суда: отказавшись от религиозных диспутов в стенах школы, говорят они, вы посягаете на свободу слова, на первую поправку к Конституции США.

Особое внимание американской общественно-

сти привлекает вопрос о преподавании в школах основ дарвинизма и библейского учения о происхождении человека. Чему и как следует учить детей? Поскольку каждый штат Америки имеет свое собственное законодательство, решения принимаются различные. Так, в 1981 г. губернатор штата Луизиана подписал закон, обязывавший учителей излагать детям в классе как научную гипотезу, так и библейский взгляд на творение. Казалось бы такой компромисс должен был примирить все стороны. Но неверующие граждане заявили протест по поводу решения губернатора. Библейское учение о происхождении человека – не наука; преподавать в школе тезисы Библии – значит внедрять религиозные взгляды под видом образования, – заявили они. Голоса антирелигиозно настроенных родителей прозвучали в прессе и с телевизионных экранов так громко, что делом заинтересовался Верховный суд. В июле 1985 г. он вынес постановление, согласно которому религиозное объяснение происхождения человека есть вопрос веры, то есть личный, индивидуальный. На этом основании решение губернатора Луизианы было отменено как антиконституционное.

Сенат США большинством голосов (62 против 36) проголосовал 10 сентября 1985 г. против законопроекта о проведении в школах организованной молитвы. Законопроект был выдвинут сенатором-республиканцем от штата Северная Каролина Джесси Хеллсом. Вопрос о "минуте молитвенного молчания" в школах пока еще окончательно не решен. Такая молитва "про себя" узаконена в 25 штатах, что впрочем не мешало Верховному суду большинством голосов (6 против 3) отменить этот закон в штате Алабама. Трудно предсказать, чем закончатся дебаты по всем этим вопросам в масштабах страны, возьмут ли верх религиозные силы или, наоборот, те, кто опасаются излишнего сближения государства и церкви. Но, что бы ни решали суды и губернаторы, открытое всенародное обсуждение всех этих проблем еще раз показывает, насколько явственно слышен в Америке голос рядового гражданина. Религия – личное дело каждого, но демократическое общество убеждено, что защита прав верующего и неверующего – также дело, которое касается всех. ●

Г. Фридлянд (Чикаго)

МИХАИЛ КУКОБАКА

Рабочий, публицист,
политический заключенный



Публикуемый ниже материал представляет собой монтаж из статей, писем и заявлений политзаключенного Михаила Кукобака, в настоящее время отбывающего срок в лагере ВС-389/36 в пос. Кучино Пермской области. Некоторые тексты печатаются полностью, другие — в больших отрывках. Это не просто тексты. Каждый из них — это еще и "преступление". Именно за них Михаил Кукобака отбыл в разное время почти 15 лет в психбольницах, тюрьмах и лагерях. Таким образом, наша подборка — это не только портрет (точнее — автопортрет) политзаключенного. Это еще и своеобразный портрет рабоче-крестьянского государства в его взаимоотношениях с рабочим-металлистом, которого "черт догадал родиться в этой стране с умом и талантом".

Михаил Игнатьевич Кукобака, белорус, родился в 1936 г., в Бобруйске. Его отец погиб в советско-финской войне в 1939 г. Мать с началом немецкой оккупации Белоруссии в 1941 г. ушла в партизанский отряд, где была тяжело ранена. Она умерла в инвалидном доме. Михаил жил у бабушки, в небольшой деревне Вавуличи под Бобруйском. Об этих послевоенных годах М.Кукобака вспоминает в своем очерке "На свидании с детством", написанном в 1977 г.

Вавуличи, далекое детство мое... Особенно трудными были две послевоенные зимы. Отец не вернулся, бабка говорила — без вести пропал. Мать вернулась калекой, долго скиталась по госпиталям. Уже будучи в детдоме, в 1947 году, увидел ее — приходила на костылях. Умерла она раньше бабушки.

В общем, одни мы были с бабушкой, на всем свете одни. Бабка милостыню просить стеснялась, очень гордой была. Что дадут за какую работу, и ладно. Приносила очистки картофельные, около солдатской кухни собирала. Бывало, если какой солдат догадается, то и пару целых картофелин принесёт. Много тогда голодных было. Помню, зашла к нам переночевать одна нищенка (мы и сами жили у чужих). Как вывалила она полную сумку корок хлебных на стол — самым богатым человеком на свете мне показалась. Обьелся я тогда, еле отходили. Да, нелегкие это были зимы, с 44-го на 45-й и с 45-го на 46-й год. Всеми, наверное, болезнями я тогда переболел: и золотухой, и "куриной слепотой", и воспалениями разными. Врачей не знал. Бабка от всего сама лечила,

как могла. Она неграмотная была и все мечтала, как бы я "ученым" стал. Особенно хотелось ей, чтобы "дохтор" из меня вышел... В 1946 году приготовила обувку мне (лапти), сшила тетрадь из оберточной бумаги, карандаш достала и отправила в школу. Помню, два дня походил я, а потом бросил. Стеснялся я очень. В Вавуличах тогда большая воинская часть стояла, и большинство школьников оттуда ходило — офицерские дети. Девочки в шубках, мальчики в шапках теплых, в ботинках или сапогах. А у меня — буденновка, одежда хилая — что-то перешитое из трофейных тряпок, и лапти, с которыми только и делал, что воевал. То веревки разматаются, то еще что-нибудь... В общем, никакие бабкины уговоры не помогли, уж очень я на эти лапти в обиде был.

Вот тогда-то и решила бабушка отвезти меня в бобруйский детдом, понимая, что здесь, в деревне, с учебой у меня все равно ничего не выйдет. К тому же почти у всех ребят хоть какие-то книги, особенно у офицерских детей, у меня же одна самодельная тетрадь да карандаш.

Ах, если бы не лапти эти, да не зима, то можно бы, пожалуй, и без детдома обойтись! А то ведь так и пошло: от детдома до тюрьмы — по чужим, по казенным домам...

Михаил провел в Вавуличах всего несколько лет — бабушка была вынуждена отдать его в 1946 г. в детский дом, ибо у нее самой не было средств к существованию, не то что прокормить ребенка. Тем не менее, Вавуличи навсегда остались в памяти М.Кукобака как символ родины, как сама эта родина.

С годами я все чаще возвращался мыслями к этой деревушке. Жажда встречи становилась непереносимой. И вот, наконец, спустя 30 долгих лет, соскочив с бобруйского автобуса, иду я проселком в родные места. Впрочем, Вавуличей теперь нет, есть деревня Дубовка, вот она — столб с надписью стоит.

Когда-то, еще до октябрьского переворота, местный крупный землевладелец, или помещик, как называем по привычке, хотел построить здесь сахарный завод. Возвел главный корпус и несколько подсобных. Думал даже провести железнодорожную ветку от ближайшей станции Савичи, отсыпал насыпь до самой деревни.

Гражданская война спутала планы. Так и простояло это заложенное неизвестным промышленником сооружение до сих пор без применения. Разве что колхоз использовал его под склады да конюшни. Вот по этому зданию из добротного красного кирпича (теперь такого не делают) я и узнал место своего детства. Рядом находился огромный фруктовый сад (тоже старый, поместный), при немцах он был бесхозным, и мы, мальчишки, кормились в нем вволю в те голодные годы. Теперь сад вырублен и даже выкорчеван. Говорят, стал "нерентабельным" для колхоза. Но ведь взамен — ничего! Ни луг, ни пашня — просто исковерканная, обезображенная земля...

Дорога от деревни до станции была как большая живописная аллея из столетних елей. Они пережили и гражданскую войну, и бомбежки последней. Увы, сейчас я насчитал всего 4 дерева. Оказывается, одному из послевоенных председателей колхоза захотелось построить себе новый дом, и он приказал спилить эти деревья. Председателя давно уже нет, ушел на пенсию, только в память о нем торчат из земли полусгнившие пни.

Вокруг деревни, помню, шумели необозримые леса, грибов там разных было, ягод — хоть отбавляй. Сейчас почти сразу за околицей — шлагбаумы, запретная зона: рядом с Вавуличами, тесня деревню, расположился огромный полигон. Автоматный и пулеметный треск днем и ночью. А когда палят из "штатных" орудий, как объяснил мне какой-то школьник, то в деревне часто стекла вылетают из окон. Военщина готовит пушечное мясо для новой войны!

Уже в черте полигона мое внимание привлекло озеро, которого не было раньше, и какое-то заброшенное строение рядом с ним. Сочетание показалось странным: по виду — бывший жилой дом, а стены железобетонные, мощные, словно у ДОТа. И такое же перекрытие — не всякий снаряд пробьет.

Оказалось, это — бывшая генеральская дача. Для него и озеро было вырыто, и баня рядом построена (тоже железобетонная), с водопроводом. Специальный насос качал воду из озера для дачных нужд. Все это было огорожено колючей проволокой и охранялось, запретная зона!

Генерал давно съехал: то ли перевели, то ли сам лучшее место нашел. Рассказывают, что когда на время снимали охрану, дачу дважды сжигали, видимо, из мести. И стоит теперь одиноко этот железобетонный скелет, заброшенный, с пустыми глазницами вместо окон и дверей — порождение чьего-то бредового ума. А озеро называется Тарасовским — по фамилии начальника полигона, который руководил работами. В озере водится рыба. Так как оно расположено на границе полигона, сюда забредают с удочками колхозники, особенно молодежь. Охрана, конечно, гоняет их, т.к. озеро считается собственностью полигона. Иногда приходят солдаты, эти уже не с удочками, — глушат рыбу взрывчаткой, и тогда поверхность озера белеет от дохлятины.

Километрах в трех от Вавуличей-Дубовки — село Телуша. Там есть большая церковь, силуэт которой хорошо виден отсюда. Я направился к ней. Вспомнил, как бабушка водила меня туда на какой-то праздник в том далеком 1946 году. Народу в церкви было тьма.

Оказалось, что церковь давно закрыта. Все проржавевшее, полусгнившее. Кладка осыпается, двери проломаны. Пробираюсь через пролом внутрь. Господи! Все, что можно сломать — сломано. Пол покрыт птичьим пометом и тысячами пробок от винных бутылок. И все кругом загажено, уже не птицами. Церковь используется как туалет. Еще бы, ведь рядом — клуб и продовольственный магазин, в котором я насчитал 9 сортов разных вино-водочных изделий. Так что все вместе пьют, едят и оправляются...

Я выбрался на свежий воздух. Метрах в двадцати от церкви — обелиск со звездой и графаретной надписью: "Геройски погибшим в 1941—45 гг..." Но меня поразило другое. Неподалеку от казенного монумента, в пределах бывшего церковного двора, — скромная мраморная плита, на которой высечена четкая надпись:

Наталья Александровна
ПУШКИНА
по мужу
ВОРОНЦОВА—ВЕЛЬЯМИНОВА
3 декабря 1912 г.
53 года

Какой-то иной волей повеяло от этой, видимо, случайно сохранившейся могилки. Правда, все это тоже огорожено аляповато сваренным металлическим заборчиком с облупившейся краской... Это что, внучка ПУШКИНА? Но как оказалась здесь, в бело-русской глуши?

Вавуличи, память моя!... А вот бабушкиной могилки и не сыскать нигде. Где она умерла и даже когда точно — я не знаю. Она ведь после войны вроде как без постоянного места жительства была — где кто приютит, там и поживет несколько дней. И перебывалась кое-как, чужим куском. До войны она получала пенсию по инвалидности, а во время войны пропали документы, и в пенсии отказали... Так что моя бездомность, видимо, по наследству ко мне перешла. Точно так же, как другие получают по наследству квартиру, имущество, даже профессию. В общем, что бы там философы ни гово-

рили, а в жизни, в большинстве случаев, как счастье, так и несчастье — по наследству достаются.

Когда я уезжал, дул холодный порывистый ветер, моросил дождь. С тяжелым чувством покидал я свою, теперь уже бывшую, родную деревню. Раньше только одно воспоминание о ней, о тех далеких днях детства задевало самые чувствительные струны моего сердца. И все эти 30 лет меня тянуло сюда — посмотреть и вспомнить что-то. И жгла боязнь: а вдруг не успею? Теперь все это умерло. Видимо, для чувства Родины недостаточно одного факта рождения в какой-то географической точке на земле. Нужны еще какие-то связи, и если они оборваны...

В 1953 г. Михаил Кукобака окончил ремесленное училище, затем работал на стройках в Сибири, отслужил в армии. Окончил вечернюю школу. Работал электриком, токарем, слесарем-прибористом.

21 августа 1968 г. войска стран Варшавского договора совершили интервенцию в Чехословакию. На следующий день М.Кукобака, который тогда жил в Киеве, пришел в чехословацкое консульство, чтобы выразить свое возмущение действиями СССР и солидарность с чехословацким народом. С этого шага началось "диссидентство" М.Кукобаки, хотя тогда это слово еще только-только входило в оборот, и сам Михаил так себя никогда не называл. Вскоре М.Кукобака в первый раз отказался от участия в выборах, вышел из профсоюза, перестал ходить на субботники и другие подобного рода мероприятия.

12 апреля 1970 г. в г.Александрове Владимирской области М.Кукобаку арестовали по обвинению в "распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". В вину ему ставили "клеветнические" разговоры среди рабочих и написание открытого письма английскому писателю Айвору Монтегу в защиту писателя-невозвращенца Анатолия Кузнецова.

Следствие было уже почти закончено, дело закрыто, когда М.Кукобаку неожиданно перевели во Владимирскую тюрьму, где следователь майор Евсеев потребовал от него, в обмен на освобождение, дать показания о якобы имевших место его встречах со статс-секретарем посольства ФРГ в Москве (разумеется, с антисоветскими целями). М.Кукобака наотрез отказался и был направлен (майор Евсеев не скрывал, что в отместку) на психиатрическую экспертизу в институт им.Сербского в Москву. После этого с диагнозом "параноидная шизофрения" М.Кукобака был помещен в Сычевскую спецпсихбольницу. Там он провел около трех лет, да еще три года в-обычной психбольнице во Владимире. Освободился в мае 1976 г.

После освобождения вернулся в Белоруссию, в Бобруйск. Работал электриком на ТЭЦ, грузчиком комбината "Вторсырь". Уже через несколько месяцев он вновь попал в психбольницу (в обычную, не надолго) — за то, что давал другим читать Всеобщую декларацию прав человека. В 1977 г. — снова психбольница на два месяца — за то, в общежитии над койкой повесил икону, портреты А. Сахарова и генерала П. Григоренко.

В этот период М.Кукобака начал активно писать. В самиздате появились его очерки (в том числе и тот, отрывки из которого мы привели выше), статьи, открытые письма. М.Кукобака пишет о проблеме прав человека, о спецпсихбольницах, о национальном вопросе, о проблемах разрядки. В завершенной статье (1977 г.) "Международная разрядка и права человека — неделимы" М.Кукобака писал:

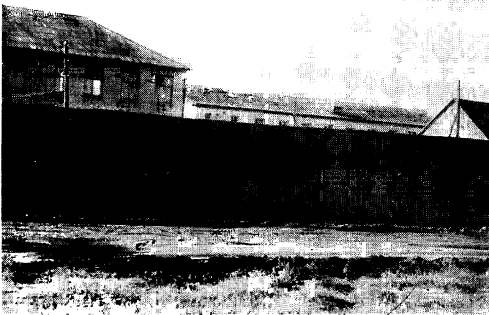
Если не обманывать самих себя, то надо четко уяснить, что без внутренней разрядки в самом Советском Союзе не может быть никакой надежной международной разрядки. Врядли кто станет оспаривать, что неофициаль-

ный контроль за выполнением международных соглашений посредством разных спецслужб заинтересованных стран не может быть сравним по своей эффективности и доверию с гласным контролем со стороны внутренней оппозиции, со стороны самого народа.

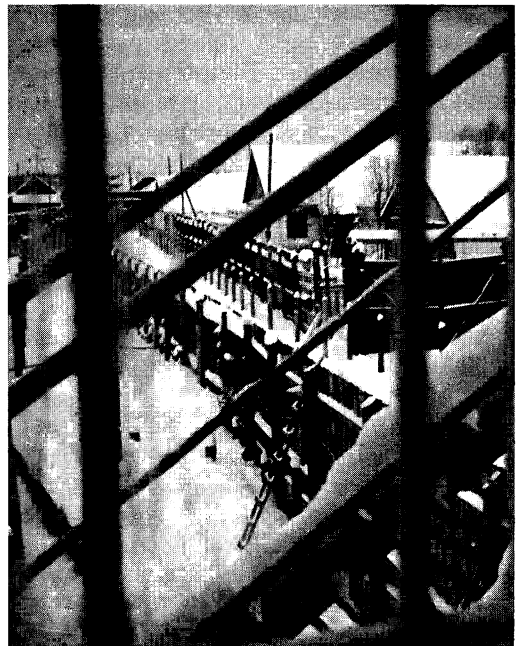
Вот этого контроля за своими действиям, да и вообще всякого независимого контроля больше всего боятся Брежнев и брежневы. Отсюда и такая нервозность в заявлениях Джимми Картера.

Вспомним, с чего начался ядерный "марафон". В июне 1946 года, когда еще только одни США имели ядерную бомбу, представитель этой страны при ООН Бернард Барух предложил план, по которому США отказываются от монополии на атомную бомбу и уничтожают ее запасы (тогда еще небольшие). Остальные страны должны прекратить разработку этого вида оружия и ликвидировать имеющиеся полуфабрикаты. Весь этот процесс предлагалось осуществлять под строгим международным контролем. Принятие этого плана избавило бы человечество от призрака ядерного самоубийства. Советское правительство отвергло этот план под предлогом "нарушения суверенитета". Истина здесь как на ладони. В самом Союзе полным ходом шли работы по созданию ядерного оружия. При советском образе жизни малейшая критика милитаризма в своей стране расценивается чуть ли не как измена родине, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому в необъятных просторах Сибири, Казахстана (благо, места хватает) на бесчисленных секретных заводах и полигонах можно бесконтрольно выпускать любое оружие и в любом количестве. От мировой общественности достаточно отмахнуться бумажными гарантиями. Вот это и есть "разрядка" по-советски.

Многие произведения М.Кукобаки попали на Запад. Кое-что было опубликовано, передано по радио. Белорусский рабочий зарекомендовал себя как незаурядный публицист. Пожалуй, по-настоящему имя М.Кукобаки получило известность после появления в 1978 г. его очерка "Украденная родина".



Вверху:
Сычевская спецсхбольница,
где М.Кукобака содержался в 70-х гг.



Справа:
Пермский лагерь ВС-389/36,
где сейчас находится М.Кукобака

УКРАДЕННАЯ РОДИНА

Поезд подошел к Бобруйску ранним августовским утром. Среди суетящейся толпы пассажиров этот, бородатый, выделялся внешней неторопливостью. Сошел одним из последних, сдал чемодан в камеру хранения, а с оставшимся в руках портфелем снова вышел на перрон, как бы не в силах сразу расстаться с прошлым. На вид ему было около сорока. Редкая, но заметная седина проскальзывала в бороде и на висках. Под внешним спокойствием и медлительностью внимательный наблюдатель мог бы заметить какую-то внутреннюю напряженность. Это выдавали и глаза: тревожные и как бы что-то ищущие. Осмотревшись, приезжий медленно направился в сторону от вокзала.

Глядя со стороны, можно было подумать, что человек приехал в чужой, незнакомый город.

А правда, когда это было? И было ли?...

Мне шел семнадцатый год, когда в такой же августовский день, на этой же бобруйской платформе, нас, выпускников ремесленного училища, торопливо грузили в поезд. По распределению мы ехали возводить одну из строек коммунизма в далекой Сибири. Стройку эту мы возводили в гор.Ангарске, работая в одной зоне с заключенными, от которых отличались разве что своей молодостью.

Но сейчас я думаю о другом. Где-то здесь на улице Минской, рядом со школой имени Белинского, должен быть деревянный двухэтажный дом с большим двором, огороженным глухим забором. Вдоль забора — ряды деревьев. Где-то среди них — березка, посаженная моей рукой. Как говорила нам воспитательница, — чтобы оставить память на земле, чтобы было о чем вспомнить, когда вернемся сюда взрослыми... Вот и нужная мне улица. Но как они непохожи! — эта и та, которую помнил с детства. Словно два разных человека с одинаковой фамилией.

Бывшая моя школа на месте, а рядом — кирпичное здание с вывеской "школа-интернат". И никаких деревьев. Память стерта бульдозером. Вдруг позади интерната замечаю знакомый темно-коричневый дом. Он-то и нужен мне. Подхожу ближе. Стекла выбиты, окна заколочены досками. Рядом — длинное одноэтажное строение в таком же состоянии. Раньше это были так называемые рабочие классы. Здесь мы готовили домашние задания. Сюда же, спасаясь от недремлющего ока воспитателей, забирались, пролезая через форточку, в свободное время для игр и обсуждения своих маленьких детских тайн.

Сколько раз в мрачной одиночке Владимирского централа воскрешал я картины своей юности. Вот я сижу у окна в этом рабочем классе, то и дело украдкой поглядывая назад. Уж больно любопытная книжка у Сережки — "Янки при дворе короля Артура". "Дай глянуть! — шепчу я. "Кукобака, не вертись, сиди спокойно!" — обрывает строгий голос воспитательницы.

Сколько еще разных окриков предстоит услышать в жизни. "Не шевелись! Смирноно!" Или годами позже: "Руки назад! Не оглядываться!" И лязг автоматов, и рычание конвойных овчарок...

...А в пещерном сумраке одиночки неспешно прокручиваются кадры далекого прошлого... После окрика воспитательницы я на секунду замираю. Но арифметика не идет на ум. За окном ноябрь. Огромные, мягкие снежинки тихо устилают землю, тронутую первым морозцем. Хочется на волю. На душе какое-то необъяснимое бунтарское настроение.

Шибка в окне уже проема, и я сдвигаю ее, увеличивая струю прохладного, щеко-чущего воздуха. Впереди меня сидит симпатичная девочка Рая Бойко, ей это неприятно.

”Мишка, не жадничай, давай по-честному!” — и она передвигает стекло на середину проема, раздваивая струйку свежего воздуха. Девочка мне нравится, но я упрямо передвигаю стекло по-своему.

Она злится. Повторный окрик воспитательницы прекращает нашу возню. Теперь, в этой душной, мрачной камере мне жаль давнего упрямства, и я охотно бы уступил той девочке, перенесясь через годы назад...

— Извините, вы по поводу сноса этого дома?

Я вздрагиваю и ошарашенно смотрю на человека средних лет, по виду похожего на мастера-строителя. Не в силах сразу вернуться к действительности, растерянно бормочу: ”Нет, нет, я посторонний.”

Он с недоумением оглядел меня, скользнул взглядом по мятому, изрядно поношенному костюму и запыленной, давно не чищенной обуви. Его лицо, только что выражавшее доброжелательность, стало раздраженным, даже злым. Но ничего не сказав больше, он повернулся и затрусил рысцой, деловито покрикивая что-то начальственное стоящим у грузовика рабочим.

Некоторое время раздумываю, чем я мог привлечь его внимание. Ах да! Мой портфель, да борода под канадского шкипера прошлого века и берет. Видимо, этот не совсем обычный для провинции внешний вид и создал иллюзию начальства. А преклонение перед начальством на Руси — общеизвестно. Это национальная черта. Если вы в шляпе, в очках, да еще с портфелем — сто процентов гарантии, что в любом учреждении к вам отнесутся предупредительнее и в любом магазине обслужат приличнее, чем гражданина без перечисленных атрибутов. Такова уж психология советского человека!

Я подхожу к дому и осторожно, раздвинув доски на заколоченной двери, пролажу внутрь. Поднимаюсь по лестнице. Мимо с испуганным визгом пронесются две собаки и выскакивают наружу. Кругом запустение и кучи мусора. Полы сорваны, а все, что можно разломать, — разломано. Поднимаю с пола пару школьных тетрадей. Даты на них двух-трехлетней давности. Тут же лежит маленький носовой платочек с нарисованным зайчиком. Уж не моей ли Раи? Помню, что здесь были наши спальни. Справа мальчишки, слева девочки. А внизу, под лестницей, стоял большой бачок — параша, общая для всех. Маленькая сцена — здесь наша самодеятельность ставила спектакли. В хоре разучивали бесчисленные песни о Сталине, ”Москву-Пекин”. Здесь же устанавливали новогоднюю елку. Средних размеров комната, тогда она казалась мне большим залом.

Я вылез наружу и отряхнувшись зашагал к центру. С каждой минутой росло чувство тревоги. Как будто чего-то не хватало в облике города, который я многие годы хранил в своей душе. Ощущение было сродни тому, как если бы из комнаты неожиданно и незаметно убрали какую-то дорогую для вас вещь. К примеру, любимую картину. Раньше этот предмет так долго находился на глазах, что вы просто перестали его замечать. Но вот вы вошли и почувствовали легкое беспокойство. На первый взгляд все как будто на месте. Вы осматриваетесь вокруг, не замечая пустоты на стене. В первые секунды мозг как бы дорисовывает отсутствующий предмет с образа, запечатленного в памяти. Но беспокойство и тревога нарастают. И вдруг ваш блуждающий взгляд словно магнитом притягивается к зияющей пустоте.

Давно должны были показаться маковки многоглавого собора — главной достопримечательности города. Вот и кинотеатр ”Товарищ”... Странно, ведь собор должен быть где-то здесь, со своей чугунной оградой и несколькими яблонями за ней. Передо мною просторный сквер. Я вхожу в него и вдруг, сквозь деревья, замечаю округлый выступ стены из потемневшего от времени кирпича. В волнении ускорю шаг, поднимаю голову и... ничего не понимаю! Над остатком фундамента и частью задней стены бывшего собора возвышается несуразная коробка с серой потрескавшейся штукатуркой на фасаде. В изумлении осматриваю это странное сооружение. Вывеска гласит:

”Спортивный комплекс. Построен в 1967 году в честь 50-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции.”

Вот как отметили юбилей захвата власти местные хозяева-коммунисты! Таким же варварством, как и полвека назад.

В детстве и юности наши воспитатели насмешками и долгими нудными лекциями вырабатывали в нас ненависть и презрение ко всему религиозному. В пионерах и в комсомоле я тоже не избежал этой ”промывки мозгов”. Но были и другие, незапланированные уроки. Монотонность и скука полуказарменной жизни иногда так надоедали, что многие из нас убегали из детдома в ”самоволку”. В эти редкие часы свободы мы жадно впитывали жизнь окружающего города, незнакомую и обычно недоступную для нас.

И тогда мы видели, как много людей было, особенно в праздники, у собора. Но без базарного шума и толкотни, все было ласковы и приветливы друг к другу, даже незнакомые. У входа с покорной терпеливостью стояли и сидели старики и старушки, больные и калеки. И мы видели, что люди, которые входили в этот необычный дом или выходили из него, всегда подавали страждущим. Кто монетку, а кто просто кусок хлеба. Ведь время было голодное. Эти люди, их называли верующими, были гораздо добрее тех, что равнодушно проходили по улице мимо протянутой руки безногого инвалида.

Верующие... Верящие в добро и справедливость люди.

И сразу как-то тускнело красноречие платных воспитателей перед наглядной правдой жизни.

И вот собора нет. Остались обломки: часть фундамента и стены, приспособленные для чужого тела и чужой цели. Душу храма умертвили. А ведь сколько поколений жителей города прошло мимо соборных стен! Всесокрушающий ураган последней войны пронесся, пощадив собор. Ребенком я с благоговением гладил замшелую грань старой кладки, и мне казалось, что я прикасаюсь к седой древности. А если в тихий солнечный день я смотрел на купол главной звонницы, плывущий в небесной синеве, то как будто слышал нежный, мелодичный звон.

Может и не был этот собор таким древним, чтобы привлекать толпы зарубежных туристов, но он был историей этого города, его памятью и душой. С тяжелым чувством я уходил от каменного трупа. Позже я узнал, что такая же участь постигла и католический костел, стоявший неподалеку от стадиона. На его фундаменте теперь воздвигнуто здание строительного треста.

Неожиданно я подумал о Париже. Нет, конечно же, я не был в этом городе. Но я знал Париж по книгам Гюго, Бальзака, Дюма, по беглым заметкам советских журналистов. И я подумал, что если бы воскресить парижанина, умершего двести, даже четыреста лет назад, то он вошел бы в сегодняшний Париж, как в город своего детства. Он смог бы бродить по знакомым улочкам и площадям. Он узнал бы все древние соборы и дворцы. И сказал бы с полным основанием: ”Да, это мой родной город. Его нельзя спутать с другим, ибо Париж неповторим.”

Равнодушным взглядом я скользнул по взгромоздившемуся на бетонный постамент танку — памятнику какому-то генералу-танкисту, который, видимо, первым ворвался на этом танке в освобождаемый от немцев Бобруйск. Но память подсказывает и другое. Такие же генералы и на таких же танках врывались в страны Прибалтики, в Бессарабию и Польшу. А уже после войны давили людей на улицах Будапешта и Праги. Да что там Прага, а собственный Новочеркасск!

Позже я узнал, что для разрушения собора вызывали такой же танк из соседней части. Но не смог он осилить старины. Пришлось применить взрывчатку.

И вовсе неожиданная мысль пришла. На этом постаменте бессмысленно ржавеет 32 тонны, видимо, неплохой стали, а в Бобруйске да и во всем районе в магазинах — ни утюгов, ни ножниц никаких. Да, если бы все те средства, что идут на раздувание военного психоза, обратить на пользу людям! Многих можно было бы лучше одеть и нако-

мать, а бездомные получили бы крышу над головой и не скитались бы по чужим углам да по казармам-общежитиям...

После раздумий у танка я забрел на кладбище. Оно заметно разрослось, стало теснее. Помню, здесь была небольшая деревянная церковь. На мой недоуменный вопрос какая-то пожилая женщина, поправлявшая могилку, рассказала, что церковь сгорела несколько лет назад при весьма странных обстоятельствах. Пожар начался ночью, неожиданно и сильно. Когда жители ближайших домов и верующие бросились тушить, то откуда-то появилось оцепление из милиции, и никого не подпустили к месту пожара.

Покинув кладбище, я уже не пытался искать что-то памятное в этом городе.

Спускаясь к железнодорожному переезду, что на улице Бахарева, заметил предупредительную надпись у шлагбаума: "Берегись поезда!" И сразу вспомнилось: а ведь 25 лет назад здесь было написано: "Сцеражыся цягніка!" и только внизу — русский перевод.

Теперь белорусская фраза исчезла. К собственному удивлению, меня это неприятно задело. Неожиданно я осознал себя белорусом. Ведь здесь испокон века жили мои деды и прадеды. Сама земля эта состоит из праха бесчисленных поколений моих сородичей. И я, их потомок, имею неоспоримое право не только на эту землю, но и на свой родной язык, на право быть белорусом.

Теперь, уже сознательно, я стал рассматривать надписи на вывесках магазинов, учреждений. Подавляющее большинство их — на русском языке. И лишь заметный белорусский акцент у прохожих напоминает, что ты находишься не в Костроме или Иваново. На базаре иногда можно услышать белорусскую речь. Эти, видно, из деревень приехали. Все же плановая ассимиляция полностью еще не завершена, хотя ее успехи очевидны.

Позднее я побывал в Минске. Там картина иная, русских вывесок мало. Но ведь Бобруйск не столица. Доступ иностранцам сюда закрыт, а потому можно беспрепятственно и неуклонно стирать "чужой земли язык и нравы".

Похожую систему плановой русификации я наблюдал и на Украине. Но, к чести украинцев, они гораздо упорнее отстаивают национальную самобытность от посягательств "старшего брата". Хотя силы слишком неравны. И они часто поминуют недобрым словом своего "нерозумного сина" Богдана Хмельницкого, который свыше трехсот лет назад совершил роковой поступок, граничащий с национальным предательством.

...Через несколько дней я устроился на работу, прописался и поселился в общежитии. Однако вскоре власти разведали, что я так называемый инакомыслящий, "ую нос, куда не следует", даю читать Всеобщую декларацию прав человека и т.д. Начались преследования. Дважды меня сажали в сумасшедший дом. Выгоняли с работы. Среди зимы выселили на улицу из общежития. Какой уж раз скамья на вокзале становилась моим прибежищем.

В моем паспорте записано: национальность — белорус, место рождения — гор.Бобруйск. Здесь жили мои родители, отсюда они ушли на фронт и не вернулись. Здесь же я, как круглый сирота, воспитывался в детском доме. Но теперь в этом городе для меня не нашлось ни крова над головой, ни достойной работы. Власти предлагают мне уехать отсюда. Куда? "Хоть в Хабаровск, мы охотно выпишем тебе туда билет," — говорил мне Марат Тимофеевич Кузнецов, главный врач областной психиатрической больницы. Но ведь в пределах колючей проволоки, опоясавшей страну на многие тысячи километров, законы (а вернее беззаконие) везде одинаковы. Будь то в Хабаровске, Владимире или Бобруйске. С каждым днем этот город становится для меня не только все более чужим, но и враждебным. Я излечиваюсь от ностальгии.

Недавно я подал в Президиум Верховного Совета заявление с просьбой освободить меня от советского подданства и разрешить покинуть страну. Мне, простому рабочему, отказали и в этом. В праве, не подлежащем сомнению в цивилизованных странах.

Почему?

Я пытаюсь осмыслить причину такого отказа.

В Советском Союзе право на определение и выбор Родины тоже является монополией государства. По своему усмотрению власти одних лишают Родины, других объявляют ее изменниками, третьим отказывают в праве на выезд из страны.

Фактически и тех, и других наказывают за попытку самостоятельно решить вопрос: что такое моя Родина?

В давнее время, когда колючую проволоку еще предстояло изобрести, людей, несогласных с волей правителя или вождя, охранял конвой с копьями. Иногда, для пущей надежности, их заковывали в кандалы.

Но если человек все-таки бежал или пытался это сделать, то никому не приходило в голову обвинять его в измене Родине.

Иное дело сейчас. Наше государство определяет человеку Родину Указом Президиума. От сих до сих. А чтобы Указ был авторитетнее, — огораживают эту родину колючей проволокой с сигнализацией и выставляют конвой в зеленых фуражках, с автоматами и овчарками.

Согласно таким указам Президиума, молдаванин, к примеру, обязан считать далекие Курилы или Сахалин более родными местами, чем земля рядом, за Прутом. И не смей, человеке, думать иначе, а то и в измене Родине недолго тебя обвинить!

Только чьей Родине?

Нет, живые люди — не оловянные солдатики, они осмеливаются думать иначе. И изменяют Указам, не считая, что изменяют Родине. Своей Родине.

Родина... Скольких толкований у этого слова. Для одних — это чистая география, место, где родился. Но ведь человек может родиться в неволе или во враждебной среде. Тогда приспособление во всем. К чужой культуре, обычаям, языку. Духовная и физическая ассимиляция.

Но есть и те, кто, мечтая об исторической Родине, проносят свою любовь и мечту через годы и поколения. Один мой знакомый, молодой еврей из Минска, как-то сказал: "Если бы в Израиле жизнь была даже хуже, чем здесь, я бы все равно уехал туда".

Но может быть и еще одно толкование Родины. Не каждый, возможно, его приемлет, но оно есть.

Бог создал людей свободными и равными. И это изначальное стремление к свободе присуще людям всех наций и убеждений.

Духовная свобода, родство душ, а не только общность земли и крови, — вот что объединяет этих людей, независимо от их национальности. Лишив свободы, их тем самым лишают и Родины.

Не только интеллектуалы типа Герцена или Плеханова уезжали на Запад. Тысячи полуграмотных крестьян: русские, украинцы, белорусы, поляки в поисках Родины заселяли необжитые земли в далекой Канаде и других странах.

Люди десятков разных национальностей и религиозных убеждений, свободно объединившись, создали себе новую Родину — Соединенные Штаты Америки. Тысячами устремляются туда и сейчас. Только из России немного. Колючая проволока и автоматы на вышках — неодолимая преграда.

Как и много лет назад, Россию покидают или хотят покинуть те, у кого украли Родину...

25 марта 1978 г.

Сначала на М.Кукобаку — неисправленного сумасшедшим домом — пытались дать административно, вышвырнув с работы и оставив без куска хлеба. М.Кукобака рассказывает:

По предложению директора ТЭЦ-2 Корулина и при содействии начальника цеха Папкова А.Ф. завком единогласно санкционирует мое увольнение. Но здесь произошла описка. Группа рабочих составила письмо-протест в мою защиту в редакцию газеты "Труд". Письмо подписало более половины цеха, комсомольцы и несколько коммунистов во главе с комсоргом и парторгом цеха. Трудно объяснить, чем был вызван этот стихийный протест, уникальный в наших условиях, особенно если дело касается человека, подобного мне. Возможно, стечение каких-то обстоятельств. Нельзя сбрасывать со счета и то, что когда люди слушают передачи радио "Свобода" или "Голос Америки" и т.д. о репрессиях против честных людей в нашей стране, то это звучит как-то абстрактно и не всегда правдоподобно для "среднего" человека. Другое дело, когда здесь, прямо на глазах, абсолютно здорового и, по-видимому, неглупого человек вдруг увозят в сумасшедший дом, потом грубо пытаются с ним расправиться любым доступным методом. Вот этот наглядный урок агитационного воздействия стоит многих часов различных радиопередач. На мнение рабочих не смогло даже повлиять давление со стороны местного КГБ, которое пыталось вмешаться в этот чисто трудовой конфликт (видимо, не совсем "чисто трудовой").

Тогда летом 1978 г. в Бобруйске у многих друзей и знакомых М.Кукобаки были произведены обыски. Были изъяты принадлежащие ему рукописи, книги, магнитофонные ленты, переписка. 19 октября 1978 г. М.Кукобаку арестовали. Институт им Сербского, тот самый, где был поставлен диагноз "параноидная шизофрения", на этот раз признал Михаила здоровым и вменяемым. В июне 1979 г. М.Кукобаку судили в Бобруйске все по той же статье о "распространении клеветнических измышлений".

М.Кукобака виновным себя в совершении преступлений не признал. На суде он заявил пожалуй уникальное даже в истории советских политических процессов ходатайство о расширении обвинения:

В обвинительном заключении сказано, что я занимался преступной деятельностью с лета 1977 года до октября 1978 г. (т.е. около 15 месяцев). Я категорически возражаю как против самой квалификации моего поведения, так и ограничения его указанным временем.

Я ходатайствую, чтобы обвинение, предъявленное мне за вышеуказанный период, было распространено не менее чем на 11 последних лет. Свое ходатайство мотивирую следующим:

Данное обвинение не является одиночным, изолированным фактом в моей биографии, как это пытаются выдать органы КГБ. Мои взгляды, которые изображаются в материалах обвинения как "заведомо ложные измышления", сформировались у меня свыше 11 лет назад. И на протяжении 11 этих лет, я везде отстаивал свои убеждения как устно, так и в письменной форме.

За свои убеждения я отбыл уже на сегодняшний день 7 лет в советских тюрьмах, хотя и впервые предстал перед формальным судом. Попытки "приуменьшить" мою так называемую вину вызваны желанием КГБ обойти тот факт, что я постоянно подвергался преследованиям со стороны властей за свои убеждения.

Суд приговорил Михаила к трем годам лагерей — максимум по этой статье. М.Кукобака попал в один из белорусских лагерей. Сидел он трудно: карцер за карцером, тяжелая работа, болезнь, отсутствие медицинской помощи. Вскоре М.Кукобаку в порядке устроения наказания переводят в Елецкую тюрьму, и там его жизнь становится уже

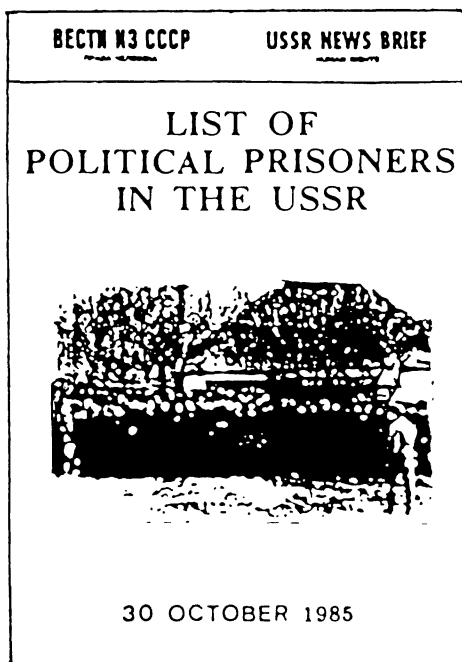
совсем невыносимой. М.Кукобака попадает в пресс-камеру — камеру, где сидят купленные администрацией уголовники, которые за соответствующую мзду избивают неугодных. Теперь к ним бросили Михаила.

Здесь нужно остановиться, ибо писать об этом трудно. Что такое быть запертым в четырех стенах с несколькими озверевшими уголовниками, которых освободили от груза совести — это читатель должен вообразить себе сам. Кажется, что выдержать это невозможно. М.Кукобака выдержал и не покался. Тогда его прямо в тюрьме арестовали снова и снова судили за клевету. Свидетелями на этот раз выступали опять же уголовники. Кукобаке добавили еще 3 года. После этого след его пропал. В октябре 1984 г. он должен был освободиться.

Прошел октябрь, но М.Кукобаку так никто и не увидел. Лишь с большим опозданием пришла весть — его арестовали опять. Когда М.Кукобака прибыл в пермский политический лагерь, стало известно, что произошло, благо из политического лагеря вести все еще просачиваются.

Михаил Кукобака был на этот раз обвинен в антисоветской агитации и пропаганде и приговорен к максимальному по этой статье наказанию — 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Год с лишним он уже отсидел — впереди еще 6 лагерных лет, а там — либо ссылка, либо, кто знает, новый арест.

По крайней мере он сейчас среди своих — среди таких же, как он политзаключенных, не в сумасшедшем доме и не среди уголовников.●



Издательство "Страна и мир" опубликовало на русском и английском языках "Список политзаключенных СССР", выпуск 7 (по состоянию на 30 октября 1985 г.). В списке приведены основные биографические сведения о 837 политических заключенных, известных поименно, указано место заключения, сообщаются сведения о семье. Даны фотографии многих политзаключенных.

К списку приложен справочный материал: таблица статей Уголовных кодексов союзных республик, применяемых к политзаключенным, фотографии и планы основных мест заключения, таблицы официальных индексов мест заключения, сведения о режиме содержания заключенных.

Стоимость "Списка" — 30 н.м., вне Европы 12 долл. (включая пересылку авиапочтой), в Австралии и Новой Зеландии — 13 долл.



ВЕСТИ ИЗ СССР

Один из основополагающих принципов социалистического стиля сформулировал Александр Твардовский: "Ура! Он снова будет прав". Согласно этому принципу любой съезд партии заранее обречен стать историческим. Уже на второй день работы XXVII съезда этот факт был засвидетельствован официально. "Мы, приехавшие из очень далекой страны, знаем, что это не рядовой, а исторический съезд", — сообщил делегатам Фидель Кастро.

Мы тоже понимаем, что XXVII съезд отличается от предыдущих не только номером. И в отчетном докладе генерального секретаря, и в некоторых (впрочем, немногих) выступлениях делегатов прозвучало нечто новое. Это новое, безусловно, заслуживает спокойного и объективного анализа — мы попытаемся дать его в следующем номере. Что касается места, которое займет съезд в исторической табели о рангах, то об этом пусть судит история. Мы же обратимся к событию, уже вошедшему в историю, — к докладу Н. С. Хрущева на XX съезде партии.

Случайно или намеренно, но нынешний съезд открылся 25 февраля. Именно в этот день, тридцать лет назад, Никита Сергеевич Хрущев выступил с драматическим сообщением о культе личности Сталина.

Сейчас, задним числом, говорят, что в докладе не было ничего неожиданного, что все это, в общем, было известно, что о чем-то Хрущев умалчал, а о чем-то говорил слишком робко и непоследовательно.

Это правда. Но не вся правда. В Хрущеве действительно было намешано всякого: хорошего и плохого, разумного и нелепого, серьезного и шутовского. И его деятельность являла собой причудливую смесь по-человечески благородных поступков и диковатой импровизации, далеко не всегда вызывающей улыбку.

Однако сейчас, по прошествии трех десятилетий, не так уж трудно отделить зерна от плевел. С именем Хрущева связаны такие события, как жилищное строительство, изменение системы оплаты труда в сельском хозяйстве, установление весьма скромных, но позволявших не умирать, а жить пенсий по старости и инвалидности, реабилитация и освобождение из заключения миллионов людей, наконец, разоблачение того, что получило название культа личности.

Не станем делать вид, что все тут было легко и просто. Для ряда мер нужны были огромные средства — Хрущев (может быть, впервые в истории СССР) пошел на значительное и реальное сокращение военных расходов. Колоссальную армию лагерных рабов надо было кем-то заменить, а это уже было связано не только с расходами, но и с ломкой привычных методов освоения необжитых районов. Однако, пожалуй, сложнее всего была ломка психологическая: вспомним, что даже среди честных и неглупых людей было немало таких, кто плакал в день смерти Сталина.

Впрочем, не это главное. Главное, что Сталину и его аппарату — с помощью пропаганды, тотальной слежки, террора — удалось создать (и не только в стране) образ огромной безжалостной государственной машины. Того самого колеса истории, которое перемальвает время, судьбы людей, извечные человеческие представления о совести, морали, этике.

Да, Роберт Конквест, Александр Солженицын, Варлам Шаламов рассказали о терроре глубже, полнее и пронзительнее, чем это сделал Хрущев. Но доклад Хрущева был первым (и пока последним) официальным признанием того, что колесо не вертелось само, что его вертели, а тот, кто его вертел, был не столько рулевым, сколько палачом.

Дело не в личности Сталина, это как раз частность. Дело в оценке целого исторического периода, и периода необычайно важного. Конечно, миллионы крестьян уничтожили или согнали с земли; конечно, был голод 30-х годов, был большой террор. Но людям тех лет казалось, что было и другое: полеты в Арктику и в стратосферу, "Челюскин" во льдах, было "Все выше и выше..." и "Широка страна моя родная...", были, наконец, сумасшедшие цифры первых пятилеток и победа в войне с фашизмом, в войне, которую не так уж бесосновательно назвали Отечественной.

Перечеркнуть все это было нелегко, а суммировать плюсы и минусы, вывести равнодействующую многих сил – и того труднее. И хотя Н. С. Хрущев всячески подчеркивал, что "культ" ничего не зачеркивает, что даже сам Иосиф Виссарионович свернул с великой магистрали только в 1934 году, именно его доклад подвел итоги этому периоду, определил его суммарную характеристику – уничтожающую.

Обозначилась четкая граница между реальным содержанием эпохи и ее пропагандистской раскраской – суегой экспедиций, страшными фарсами стахановских движений, павликов морозовых, мамлакат наханговых. Уже нельзя было скрыть, что коллективизация была не только преступлением, но и ошибкой, ибо привела не к подъему, а к катастрофическому упадку сельского хозяйства; что высокие темпы роста производства были не следствием национализации, а закономерным этапом в развитии потенциально богатой, но отсталой страны и что, напротив, избранный партией путь вел к бессмысленной растрате огромных материальных и человеческих ресурсов.

Я не буду говорить о том, у скольких из нас есть личные основания быть благодарными Хрущеву. Я убежден, что основания (пусть другие) есть у всего человечества. 25 февраля 1956 года рухнул не один только чудовищный монумент Вождя, но и парадный облик целой эпохи: кровавой, лицемерной, псевдовеличественной. Рухнул и разлетелся на такие осколки, что их уже никому и никогда не склеить.

В отчетном докладе XXVII съезду Михаил Горбачев ничего не сказал о XX съезде – хотя связь, путь чисто формальная, временная, напрашивалась. Более того, в интервью французской "Юманите" он с праведным гневом коммуниста обрушился на "сталинизм" – "понятие, придуманное

противниками коммунизма и широко используемое для того, чтобы очернить Советский Союз и коммунизм в целом". И все-таки ему пришлось признать, что разоблачение несуществующего сталинизма было тяжким испытанием для партии. "Считаю, что мы его выдержали и сделали из прошлого должные выводы", – сообщил М. С. Горбачев.

Это верно: сделали. Не все, конечно, но хоть кое-какие. А главное, выводы (тоже, увы, не все) сделал человечество. Мираж самой передовой, самой прогрессивной, самой миролюбивой, самой человеческой и, что опаснее всего, – исторически абсолютно неизбежной системы – рассеялся. Обозначилось нутро – хитро устроенное, но, в общем, человечеству известное. Вот почему ночное заседание 25 февраля 1956 года навечно вошло в историю. ●

А. Б.

САХАРОВ ПИШЕТ ИЗ ССЫЛКИ

9 февраля этого года в английской газете "Observer" появилось письмо академика А. Сахарова, написанное им еще 15 октября 1984 г. и адресованное президенту АН СССР А. Александрову. Письмо это, прошедшее, вероятно, сложный кружной путь, лишь недавно было получено газетой.

В письме идет речь, в основном, о событиях 1983–1984 гг. Наш журнал уже писал о них неоднократно ("Страна и мир" 1984 г., №№ 4, 5, 6, 8). А. Сахаров пишет об обвинении, предъявленном его жене Е. Боннэр, о суде над нею, в результате которого она была приговорена к 5 годам ссылки. Он подробно рассказывает об обстоятельствах своей голодовки, которую он начал после предъявления Е. Боннэр обвинения. Это письмо – то самое, где А. Сахаров заявляет о своем намерении выйти из АН СССР, если Е. Боннэр не будет дано разрешение на выезд для лечения. Сейчас, когда власти уступили давлению общественного мнения и Е. Боннэр выехала в США ("Страна и мир", 1985 г., №№ 6, 11, 12), где ей уже сделали операцию, А. Сахаров взял это заявление назад.

Письмо А. Сахарова интересно не перечислением самих фактов, которые уже были известны. Наибольшее впечатление производят подробности, воссоздающие жуткую атмосферу тех месяцев, когда А. Сахаров, изолированный от всех, проводил голодовку в защиту своей жены.

"4 месяца — с 7 мая по 8-е сентября, — пишет А. Сахаров, — жена и я были полностью изолированы друг от друга и от всего внешнего мира. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире, под усиленной "охраной". Кроме обычного милиционера у входной двери, круглосуточно действовали несколько постов наружного наблюдения, к лоджии пригнали специальный вагончик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне дома ее сопровождали две машины с сотрудниками КГБ, пресекавшими возможность даже самого "невинного" контакта с кем-либо на улице. Ее не подпускали к зданию областной больницы, где находился я. 7 мая, когда я провожал жену на очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили передоцте в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применением физической силы доставили в Горьковскую областную клиническую больницу им. Семашко. Там меня насильно держали и мучали 4 месяца. Попытки бежать из больницы неизменно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на всех возможных путях побега.

С 11 мая по 27 мая я подвергался мучительному и унижительному принудительному кормлению. *Лицемерно все это называлось спасением моей жизни, фактически же врачи действовали по приказу КГБ, создавая возможность не выполнить мое требование разрешить поездку жене!*

Способы принудительного кормления менялись — отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11–15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. 11 мая (в первый день) кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая до введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание (с непроизвольным мочеиспусканием). Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными (как на экране телевизора при сильных помехах). Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта. У меня сохранились черновики записок жене, написанных в больнице (почти все эти записки, кроме совершенно не ин-

формативных, не были переданы жене, так же, как ее записки мне и посланные ею книги). В моей записке от 20 мая (первой после начала принудительного кормления) так же, как в еще одном черновике того же времени, бросается в глаза дрожащее, изломанное написание букв, а также двукратное повторение букв во многих словах (в основном гласных — "руука" и т. п.). Это тоже очень характерный признак спазма мозговых сосудов или инсульта, носящий объективный и документальный характер. В более поздних записках повторения букв нет, но сохраняется симптом дрожания. Записка от 10 мая (до начала принудительного кормления, 9-й день голодовки) — совершенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения периода принудительного кормления (в отличие от периода 9–10 мая). В записке от 20 мая написано: "Хожу еле-еле. Учусь". Как видно из всего вышесказанного, спазм (или инсульт?) 11 мая не был случайным — это прямой результат примененных ко мне медиками (по приказу КГБ) мер!

16–24 мая применялся способ принудительного кормления через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления был отменен 25 мая якобы из-за образования язвочек и пролежней по пути введения зонда; на самом деле, как я думаю, из-за того, что способ был для меня слишком легким, переносимым (хотя и болезненным). В лагерях этот способ применяют месяцами, даже годами.

26–27 мая применялся наиболее мучительный и унижительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, без подушки, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугий зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открыл рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым мясом. Иногда рот открывался принудительно, рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха (что усугублялось плохим положением тела и головы). Я чувствовал, как билась на лбу жилка, казалось, что они вот разорвутся. 27 мая я попросил снять режим, обещав глотать добровольно. К сожалению, это

означало конец голодовки (чего я тогда не понимал). Я предполагал потом, через некоторое время (в июле или в августе), возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную – бессрочную – пытку удушья. Гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять.

Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы утомительные и совершенно бесплодные "дискуссии" с соседями по палате. Я был помещен в двухместной палате, меня не оставляли наедине, это явно тоже была часть комплексной тактики КГБ. Соседи сменялись, но все они всячески пытались внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек и какой профан в политике (в обрамлении лести, какой я ученый). Жестоко мучила почти полная бессонница – от перевозбуждения после разговоров и еще больше – от ощущения трагичности нашего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене (фактически – по меркам обычной жизни – полупостельной и зачастую просто постельной больной), остававшейся в одиночестве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущенные ошибки и слабость. В июне и июле сильнейшие головные боли после устроенного медиками спазма (инсульта?).

Я не решался возобновить голодовку, в частности, опасаясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу встречу с женой (что все равно нам предстояла четырехмесячная разлука, я не мог предположить).

В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Невропатолог сказал мне, что это – болезнь Паркинсона. Врачи стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию болезни Паркинсона (клиническую картину последних стадий этой болезни я знал из книги, которую мне дал "для ознакомления" главный врач; это тоже был способ психологического давления на меня). В беседе со мной главный врач О. А. Обухов сказал: "Умереть вам мы не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом, у нас есть и кое-что еще. Но вы станете беспомощным инвалидом" (кто-то из врачей пояснил: не сможете даже сами надеть брюки). Обухов дал понять, что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем нельзя будет обвинить (болезнь Паркинсона привить нельзя).

То, что происходило со мной в Горьковской областной больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Орвелла, по удивительному совпадению названной им "1984 год". В книге и в жизни мучители добивались предательства любимой женщины. Ту роль, которую в книге Орвелла играла угроза клетки с крысами, в жизни заняла болезнь Паркинсона.

Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, лишь 7 сентября, а 8-го сентября меня срочно выписали из больницы. Передо мной встал трудный выбор – прекратить голодовку, чтобы увидеть жену после 4-х месяцев разлуки и изоляции, или продолжить голодовку, насколько хватит сил – при этом наша разлука и полное незнание того, что делается с другим, продолжится на неопределенное время. Я не смог принять второе решение, но сейчас жестоко мучаюсь тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся и его подробности, она же – что я подвергался мучительному принудительному кормлению".

К этому можно добавить только одно: главврачу О. Обухову 21 ноября 1985 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил почетное звание "Народный врач СССР" за "большой вклад в развитие народного здравоохранения и самоотверженность в выполнении врачебного долга". Что ж, главврач честно заработал свою награду. Й. Менгеле в свое время тоже был замечен выше. Конечно, Обухову до достижений "ангела смерти" еще далеко, но, надо думать, не потому, что горьковский главврач считает это для себя морально невозможным. Скорее "объективных условий" не хватило. ●

ПРАВДА ДЛЯ ГОРБАЧЕВА

Полуправда, стыдливо обходящая острые углы, тормозит выработку реальной политики, мешая нашему движению вперед. Наша сила, говорил В.И. Ленин, заявление правды.

М. Горбачев. Доклад на XXVII съезде КПСС

В начале февраля 1986 г. М. Горбачев дал интервью газете французских коммунистов "Юманите", которое было перепечатано и "Правдой" 8 февраля. Наряду с целым рядом других

любопытных вещей М.Горбачев, в частности, сказал:

"Теперь насчет политзаключенных. У нас их нет. Как нет и преследования граждан за их убеждения. За убеждения у нас не судят."

Но всякое государство должно защищать себя от тех, кто покушается на него, призывает к его подрыву или уничтожению, кто, наконец, шпионит в пользу иностранных разведок. Эти действия по нашим законам квалифицируются как государственные преступления. В последнее время, как меня информировали, в СССР за все виды такого рода преступлений отбывают наказание немногим более 200 человек."

Примем за чистую монету оговорку "как меня информировали", хотя, конечно, это слабо завуалированная попытка свалить на других ответственность за собственную ложь (мы уже не говорим о том, что руководитель страны, которого можно в таком вопросе дезинформировать, немногого стоит). Оставим также в стороне вопрос, который, очевидно, мы с Горбачевым понимаем по-разному: кто такой человек, заявивший, например, что в СССР нет свободы слова и арестованный за это, — политзаключенный или лицо, покушающееся на государство и призывающее к его подрыву. Примем горбачевские правила игры и будем считать его "всего лишь" государственным преступником. Поговорим лишь о цифрах, ибо мы располагаем кое-какими данными, о которых М.Горбачева "не информировали", но которые могут быть для него интересны.

Итак, по Горбачеву, в СССР "государственных преступников" 200 человек. Но Уголовный Кодекс РСФСР (и аналогичные кодексы союзных республик) относят к государственным преступлениям целый спектр деяний — от измены родине и антисоветской агитации и пропаганды до изготовления фальшивых денег и нарушения правил безопасности движения. Разумеется, Горбачев прав, не считая политзаключенными фальшивомонетчиков, контрабандистов или лиц, совершивших "недоброкачественный ремонт транспортных средств" (ст.85 УК РСФСР). Не относим их к политэкзамам и мы. Но тогда число тех государственных преступников, о ком идет спор, по Горбачеву, должно быть еще меньше двухсот. Сколько же? Половина от 200, человек 100? Наверное, и того меньше, ибо,

конечно же недобросовестных ремонтников больше, чем "изменников". Примем цифру 100 как первое "горбачевское" приближение.

Начиная с 1978 г. информационный бюллетень "Вести из СССР" издает ежегодник "Список политзаключенных СССР", в котором приводятся биографические данные обо всех известных нам лицах, арестованных по политическим, национальным или религиозным мотивам. С 1984 г. как бюллетень, так и "Список" выходят в издательстве "Страна и мир". Последний выпуск — седьмой по счету — вышел по состоянию на 30 октября 1985 г. к традиционному Дню политзаключенного в СССР.

В "Список" включено 837 человек — только тех, о которых удалось получить сведения. К 1 февраля — ко времени, когда Горбачев дал интервью, — кто-то освобожден, кого-то арестовали, и число это стало равным 824. Так вот, за "государственные преступления" арестованы и осуждены 312 из этих 824! Еще раз подчеркнем, что недобросовестных ремонтников, контрабандистов, фальшивомонетчиков мы, в отличие от Уголовного Кодекса, в число госпреступников не включили. Подчеркнем и то, что это только те, кого мы знаем. А сколько неизвестных нам? Так что по самым осторожным оценкам Горбачев преуменьшил число "госпреступников" втрое.

Но это еще не все. Советские уголовные кодексы оставляют генсеку множество лазеек для того, чтобы уходить от прямого ответа. Рассмотрим хотя бы некоторые из них. Вот, например, есть в УК РСФСР две статьи — ст.70 и ст.190¹. Первая из них отнесена к "государственным преступлениям", а вторая считается просто уголовной, и Горбачев вроде бы и не обязан принимать во внимание лиц, осужденных по ст.190¹. Обе карают за распространение "клеветнических измышлений", порочащих советский строй, с той лишь разницей, что в ст.70 речь идет о распространении измышлений с целью ослабления советской власти, а в ст.190¹ — без такой цели, просто так, из чистой любви к искусству, как роза благоухает и соловей поет. Интересно было бы знать, как суд определяет наличие или отсутствие подрывных намерений? Нередки случаи (например, с книгой покойного историка А.Амальрика), когда автора крамольной книги судили просто за клевету (ст.190¹), а тех, кто давал эту книгу читать

другим – за клевету с целью "подрыва" (ст.70).

За клевету судили людей, "распространявших" шедевр русской поэзии – "Реквием" Анны Ахматовой, книги М.Булгакова ("Собаچه сердце"), А.Платонова ("Котлован") и многих других. Так кто же эти люди – политзаключенные или нет? Людей, осужденных по ст.190¹ УК РСФСР и аналогичным статьям УК союзных республик, в нашем списке на 1 февраля насчитывалось 131 человек: $312 + 131 = 443$. Пожалуй, Горбачев преуменьшил сильнее, чем мы полагали вначале: в 4,5 раза.

А прочие статьи УК? Обучение детей религии? Проведение молитвенных собраний в "неположенном" месте? Попытка бегства из СССР после десятилетних попыток уехать из этой страны легально ("преступление", странное для любой нормальной страны: в западном мире тебе еще могут запретить въехать в чужую страну, да и то это случается крайне редко, а уж уехать – скатертью дорога). Такого рода "нарушения закона" кодекс к "госпреступлениям" не причисляет, но кто же люди, судимые по этим статьям, как не политзаключенные?

Таких людей в "Списке", как мы уже сказали, на 1 февраля было 824. Таким образом, Горбачев преуменьшил раз в 8.

Но и это не все. Мы уже говорили, что в нашем списке только те, кого мы знаем поименно. Знаем дни рождения этих лиц и даты ареста. Знаем адреса лагерей и адреса жен и детей. Нам удалось достать фотографии некоторых из них. А как с теми, кто нам неизвестен? При той секретности, которой в СССР окружены политические процессы, мы иногда получаем информацию о новом аресте с опозданием на год, два, три. Иногда (и это бывает чаще) мы об этом вообще не узнаем. Путем косвенных оценок можно прикинуть, какое число политэзков мы знаем. Видимо, реалистическая оценка – пятая часть. Некоторые думают, что десятая. Если даже принять самую "оптимистическую" оценку, то известное нам число следует увеличить раз в пять.

Так что число политэзков Горбачев преуменьшил как минимум в 40 раз!

В неосведомленность генсека мы не верим. Прошло время сказок про доброго царя и злых бояр. ●

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА

19 декабря 1985 г. пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет Ан-24 выполнял регулярный рейс из Нерчинского завода в Иркутск. На борту было 39 пассажиров и 4 члена экипажа. В Иркутск самолет, однако, не прибыл. Вместо того он совершил посадку (видимо, вынужденную) на пастбище в китайской провинции Хэйлуньцзян, в 110 км от китайско-советской границы.

Вскоре выяснилось, что самолет был захвачен и угнан. Угонщиком оказался второй пилот Ан-24 Шамиль Гаджи оглы Алимуратов. По-видимому, он не собирался угнать самолет в Китай, а держал курс на Южную Корею. Непредвиденные обстоятельства заставили его посадить самолет раньше. 5 марта суд в Харбине приговорил Алимуратова к 8 годам заключения. Просьбу СССР о выдаче угонщика Китай игнорировал. Что касается самолета и пассажиров, то они были возвращены в Советский Союз еще 21 декабря.

Обычно принято считать, что у советских самолетов есть своего рода "иммунитет" против угонщиков. Это не совсем так. Включая последний угон в Китай, нам известно по меньшей мере 24 таких случая (включая попытку угона) – если считать только новое, посталатинское время.

В середине 1950-х гг. мужчина и женщина пытались захватить самолет ЛИИ-2, выполнявший рейс на внутренней линии в Прибалтике. Экипаж разоружил захватчиков, при этом в схватке был убит бортинженер.

10 сентября 1961 г. три пассажира маленького самолета Як-12А ("Стрекоза"), летевшего из Еревана в Ехегнадзор, хотели угнать его в Турцию. Пилот, желая предотвратить захват, ввел самолет в пике. Самолет разбился. Один воздушный пират был убит, двое других арестованы.

В сентябре 1964 г. в Молдавии двое вооруженных людей пытались заставить пилота одномоторного биплана лететь через Черное море в Турцию. Вместо этого пилот посадил самолет в Кишиневе. В возникшей схватке пилот был ранен.

В 1965 г. была предотвращена попытка захвата самолета над Прибалтикой. На борту завязалась перестрелка, пират убил бортинженера, но другие члены экипажа его разоружили.

В августе 1966 г. три человека пытались угнать в Турцию одномоторный биплан, летевший из Поти в Батуми. Пилот открыл по ним огонь, а затем разоружил их.

3 июня 1969 г. двое мужчин и женщина пытались захватить и угнать в Финляндию самолет Ил-14, выполнявший рейс Таллин–Ленинград. Самолет сделал вынужденную посадку в Йыхви, близ Кохтла-Ярве. В перестрелке с пограничниками один захватчик был убит, двое других – Галина Силиванчик и ее брат Юрий Васильев были арестованы. Г. Силиванчик, которую считали организатором всего этого дела, до сих пор отбывает срок: 13 лагерных лет позади, сейчас она в 5-летней ссылке в Воркуте.

15 июня 1970 г. группа советских евреев, отчаявшихся получить разрешение на выезд в Израиль, пытались организовать захват небольшого самолета местной линии Ленинград–Приозерск, угнать его в Швецию, чтобы затем направиться в Израиль. К группе евреев: А. Альтману, М. Бодне, М. Дымшицу, И., В. и С. Залмансонам, Э. Кузнецову, И. Менделевичу, М. Пенсону, присоединились русский Ю. Федоров и украинец А. Мурженко. Все они были арестованы еще на земле, перед началом операции – часть в Ленинграде, часть в Приозерске. Они были приговорены к разным, большей частью длительным срокам заключения (М. Дымшицу и Э. Кузнецову смертная казнь была замена 15 годами). Позднее все "долгосрочники" были по разным причинам досрочно освобождены, за исключением А. Мурженко (14 лет) и Ю. Федорова (15 лет), отбывших свой срок полностью.

15 октября 1970 г. литовцы Бразинскасы (отец и его 15-летний сын) захватили самолет Ан-24 по пути из Батуми в Сухуми. В завязавшейся перестрелке была убита бортпроводница Надежда Курченко. Это первая известная нам попытка захвата советского самолета, которая увенчалась успехом. Турция отклонила советское требование о выдаче воздушных пиратов. Их судил турецкий суд и Бразинскасы были приговорены к тюрьме. Позднее они были освобождены в результате всеобщей амнистии.

27 октября 1970 г., через 12 дней после первого успешного угона, был осуществлен второй. Курсанты летной школы Н. Гилев и А. Поздеев захватили пятиместный самолет Л-200, летевший из Керчи в Краснодар. Пилоту пригрозили

игрушечным пистолетом, на голову еще одного пассажира накинули мешок. Самолет благополучно приземлился в Турции. Н. Гилев и А. Поздеев получили там политическое убежище, но через год запросились домой. По возвращении в СССР их арестовали и осудили на 10 лет каждого.

9 ноября 1970 г. В. Симокайтис и его жена Г. Мицкуте в заговоре с пилотом пытались угнать в Швецию самолет местной линии, следовавший из Вильнюса в Палангу. Их, однако, разоружили другие члены экипажа и арестовали. В. Симокайтиса приговорили к смертной казни, позднее замененной на 15 лет лагерей, его жену – к 3 годам лагерей. Пилот, судимый отдельно, получил тоже 15 лет.

В апреле 1973 г. человек, вооруженный ручной гранатой, приказал пилоту самолета, летевшего из Ленинграда в Москву, повернуть в сторону Скандинавии. Пилот, однако, посадил самолет в Ленинграде. Захватчик выдернул чеку гранаты, взорвав себя и пилота.

2 ноября 1973 г. самолет внутренней линии, захваченный четырьмя пиратами, приземлился в московском аэропорту Внуково. Бортинженер, пытавшийся предотвратить захват, был ранен выстрелом в живот. Захватчики требовали лететь в Швецию, но пилот убедил их, что сначала необходимо дозаправиться. После пятичасовых переговоров самолет был взят штурмом. Двое захватчиков были убиты, двое сдались.

В 1976 г. два военных пилота успешно угнали свои самолеты. 6 сентября Виктор Беленко угнал свой МиГ-25 в Японию, породив тем самым известную шутку: "Летайте самолетами Аэрофлота – один МиГ, и вы в Японию". Но самолет был не аэрофлотским, а военным, притом новой конструкции. В. Беленко попросил и получил политическое убежище в США.

Хуже сложилась судьба военного летчика В. Засимова. Угон был успешным, самолет сел в Иране, но 26 октября 1976 г. шах Ирана выдал В. Засимова советским властям. В. Засимов получил 12 лет лагерей.

26 мая 1977 г. белорусский инженер захватил самолет Ан-24 с 18 пассажирами на борту, летевший из Риги в Даугавпилс. Он был судим в Швеции и приговорен к 4 годам тюрьмы.

10 июля 1977 г. Г. Шелудько и А. Загирняк захватили Ту-134, выполнявший рейс Петроза-

водск–Ленинград. Они намеревались лететь в Швецию, но недостаток горючего заставил их совершить посадку в Хельсинкском аэропорту. Г. Шелудко и А. Загирняк сдались финским властям и были выданы Советскому Союзу. А. Загирняк был приговорен к 8 годам лагерей и 2 годам ссылки. Г. Шелудко – к 15 годам лагерей. Сейчас он признан психически больным и направлен в специальный лагерь для такого рода заключенных.

В мае 1978 г. была совершена попытка угнать в Иран самолет Ил-18, следовавший рейсом Минеральные Воды–Ашхабад. Захватчик был убит.

То же произошло при попытке пирата-одиночки угнать в ноябре 1978 г. самолет Ан-24, летевший из Краснодара в Баку.

6 января 1979 г., в ленинградском аэропорту Пулково были арестованы 4 человека: братья Вадим и Алексей Аренберги, Людмила Листвина и Людмила Крылова. Они хотели захватить самолет, угнать его в Осло и потребовать освобождения ряда политзаключенных. Женщины уже отбыли свои сроки, Алексей Аренберг, которому при аресте было 17, должен освободиться в будущем году, Вадиму Аренбергу сидеть до 1992 г.

27 февраля 1979 г. члены одной религиозной секты – швед, бразильянка и женщина из ФРГ сели в Осло на самолет Аэрофлота Ту-154, направлявшийся через Стокгольм в Москву. Угрожая бутылкой с керосином, они потребовали, чтобы самолет летел прямо в Москву, где они планировали этот самолет поджечь в знак протеста против подавления гражданских и политических свобод в СССР. Пассажиры и экипаж помешали попытке захвата. Самолет сел в Стокгольме, все трое сдались шведским властям.

20 марта 1980 г. двадцатилетний Валерий Мартиросов, угрожая бортпроводнице ножом, пытался угнать в Турцию самолет Ту-134, следовавший из Баку в Ереван. Его разоружили, арестовали и приговорили к 8 годам лагерей.

В ноябре 1982 г. трое советских немцев захватили авиалайнер, летевший в Одессу, и угнали его в Турцию. Все трое ранее безуспешно добивались легального выезда в ФРГ. Турецкий суд позднее приговорил их к различным срокам заключения (8–9 лет).

Наиболее драматические события развернулись, пожалуй, 19 ноября 1983 г., когда группа из шести молодых грузин из высокопоставленных семейств пытались совершить захват самолета Ту-134, следовавшего рейсом из Тбилиси в Ленинград с посадкой в Батуми. Молодые люди сели в самолет вечером 18 ноября, сразу после свадьбы, которую они праздновали (в их числе были и новобрачные). Как только самолет поднялся, они, угрожая оружием, приказали пилоту лететь в Турцию. Пилоту, однако, удалось обмануть захватчиков и после полета по кругу вновь посадить самолет в Тбилисском аэропорту. Утром 19 ноября антитеррористическая группа, специально доставленная из Москвы, взяла штурмом самолет. В ходе завязавшейся перестрелки были убиты второй пилот, бортмеханик и стюардесса, а также двое пассажиров. Двое лиц, участвующих в попытке захвата, покончили с собою. Четверо – братья К. и П. Ивериели, Г. Кобахидзе и его жена Т. Петвиашвили были арестованы. Позднее арестовали еще священника Г. Чихладзе, не участвовавшего в захвате, которого, однако, считали организатором в всей операции. Перед началом суда над захватчиками в разные советские инстанции стали поступать телефонные звонки с угрозами актов террора, если арестованные будут приговорены к смерти. Дальнейшая судьба их неясна: их, по-видимому, приговорили к смертной казни, но, по слухам, тут же помиловали. Затем стали поступать сведения, что разговоры о помиловании были пущены намеренно, а на самом деле осужденных казнили. По крайней мере, в отношении Г. Чихладзе это известно достоверно.

Такова краткая история воздушного пиратства на советских самолетах. Большинство попыток имели "любительский" характер и окончились провалом. В наше время, когда терроризм повсеместно процветает, растет и повсеместное его осуждение. Большинство государств присоединились к конвенции по борьбе с воздушным пиратством. И хотя советских "пиратов" зачастую толкает на такие действия отчаяние, трудно отнести к такой форме протеста иначе, как с осуждением – особенно тогда, когда это сопряжено с опасностью для человеческих жизней.

Комментирует Р. Бахтамов



Рисунки Т.Кофьян

I.

Сто дней и один год. — Перетряска руководящих персон. — Обгоняя звук собственного визга. — Чего не скажешь в новогоднюю ночь! — В интересах душевного здоровья. — Бестактность. — Наука именология. — Наряд короля. — С юридической точки зрения. — Цветы, флаги и прочее. — Мысли, отданные будущему.

Может быть, это дань истории. Сто дней фортуна дала Наполеону для реванша. Сто дней жесткая, как наждак, американская пресса шадит вновь избранного президента. За этот срок ему надлежит освоиться с должностью, подобрать администрацию, уточнить программу действий и, благословясь, приступить к ее осуществлению.

У нас в стране такой традиции нет. Наверно, оно и к лучшему. Сто дней — совсем не тот запас времени, за который можно распутать бесчисленные узлы, завязанные идеологией, политикой, культом личности, волюнтаризмом, бездействием, обыкновенным старческим маразмом. Однако с момента вступления в должность Михаила Сергеевича Горбачева прошел уже год, это и по российским масштабам — срок солидный.

В чем в чем, а в бездеятельности нового генерального секретаря не упрекнешь. Уже в первые сто дней своего правления, точнее в апреле и в июне, Горбачев изложил свою программу "ускоренного развития". Правда, тот, кто ожидал, что за словами сразу же последуют дела, был разочарован. Всю оставшуюся часть года начальник посвятил иностранной политике и перетряске руководящих персон.

Но, пожалуй, этого следовало ожидать. "Начинать надо с верхних эшелонов", — предупредил генсек в своем июньском докладе. Тогда же было сказано и другое: "Пред-



стоящая работа — это не "латание дыр", не простое соединение или дробление организаций, пересаживание работников из кресла в кресло".

Из кресла в кресло их действительно не пересаживали, из кресел они просто вылетали. Так, пока на Западе спорили, кто главнее — Горбачев или Романов, последний вылетел, обгоняя, по выражению О. Генри, звук собственного визга. В остальном, однако, мало что изменилось: по-прежнему основные надежды возлагались на партийные комитеты, укрепление дисциплины, усиление ответственности, оживление мрачных мумий стахановского движения.

Вся эта имитация деятельности шла под аккомпанемент солидных рассуждений о коренных переменах, новом стиле руководства, борьбе с парадностью и шумихой. Трудно было понять, что говорится всерьез, а что на публику, на ту широкую партийную публику, поддержки которой Горбачев не хотел лишиться.

В новогоднюю ночь Михаил Сергеевич появился на экранах телевизоров. Выступление было парадным, и ничего особенного генсек не сказал. Однако суть того, что, по его мнению, было сделано, он выразил довольно четко. "Сегодня мы называем вещи своими именами: успехи — успехами, недостатки — недостатками, ошибки — ошибками". В этом, пояснил Горбачев, надежное лекарство от чванства и самоуспокоенности, верный ключ к новым успехам, к новому качеству жизни, к новым высотам социально-экономического и духовного развития.

На мой вкус, нового тут многовато, — но чего не скажешь под Новый год! Плохо верится, чтобы замена одних слов другими (хотя бы и вполне точными) позволила достичь нового качества жизни и новых социально-экономических высот. А вот для развития человека и даже просто для душевного здоровья это и в самом деле очень важно. Какое уж там развитие, если взрослые и уважаемые люди: врачи, инженеры, ученые — обязаны изо дня в день повторять, что черное — это белое. Плохо, когда в магазинах нет мяса, когда молоко появляется только по утрам, а килограмм картошки стоит на базаре полный рубль. Но, черт возьми, пусть хотя бы так и скажут. Ничего подобного. В очередном сообщении ЦСУ мы прочтем, что производство оловяно-молибденовых сплавов и многосильных тракторов в некоем исчислении возросло неимоверно. Правда, "в отдельных районах страны растущие потребности населения на некоторые продукты и товары удовлетворяются не полностью".

Итак, отныне, на шестьдесят девятом году советской власти, мы начинаем овладевать высоким искусством: называть вещи своими именами. Конечно, это трудно, ох, как трудно. Не мудрено, что даже такой специалист по наименованиям, как генеральный секретарь, на первых порах спотыкается. Например, из его ответов на вопросы газеты "Юманите" мы узнали, что политических заключенных в нашей стране нет, а есть лица, осужденные за государственные преступления. Но где-то, краем уха мы вроде бы слышали, будто в СССР судят за антисоветскую пропаганду, за клевету на советский государственный и общественный строй. Значит, сказать, что этот строй мне не нравится и объяснить, почему именно, я не могу — посадят. О демонстрациях протестов, распространении листовок и подумать страшно. Спрашивается, какие же действия Михаил Сергеевич считает не государственным, а политическим преступлением: печатание листовок с критикой правдома?



А как быть с цензурой? Тут, похоже, вождь чего-то не додумал и допустил вопиющую бестактность. "У вас, — сказал он своему иностранному собеседнику, — определяют, что печатать, а что нет, владельцы газет и издательств или нанятые ими редакторы". Вот ведь как здорово срезал француза: дескать, у нас плохо, но и у вас не лучше. Только кто тот француз? Политический директор "Юманите". Выходит, что цензуру во Франции осуществляет не буржуазное государство, а член политбюро французской компартии! Полная, прошу прощения, абракадабра.

Если уж основоположник именовологии порой спотыкается, то, боюсь, не скоро, ох, не скоро мы научимся называть вещи их собственными именами. И все-таки тут я оптимист, ибо убежден, что перестройка, если она произойдет, начнется не с политики. Напротив, политика — это именно та сфера, которую перестройка затронет в последнюю очередь, — разумеется, при условии, что до перестройки вообще дойдет. А начнется, — если начнется, — с экономики. С какого-нибудь семейного подряда, например.

Представьте себе короля — с короной, скипетром и в мантии. Скажем, выходит венценосец при полном параде из кареты, и тут какой-то мальчишка-голодранец кричит: "А король-то голый!" Ясно, что король, если он не дурак, добродушно усмехнется и махнет рукой: "Пусть его".

Теперь представьте себе, что одежда Его Величества в самом деле оставляет желать лучшего, и он сам в глубине души это понимает. И вдруг этот зловредный мерзавец, этот враг народа нагло вопит: "А король..." Тут и самый добродушный человек не выдержит и так махнет рукой!.. Уж потом придворные стряпчие определяют, что там было: антикоролевская пропаганда, клевета на королевский строй или вовсе измена родине.

Одним словом, когда экономика наладится, и с политикой станет проще. Но прежде, чем экономику налаживать, надо какие-то вещи назвать их собственными именами. Скажем, что такое коллективизация? Рывок в светлое будущее или преступление? С юридической точки зрения, конечно, преступление. Людей, единственная вина которых состояла в том, что они хотели и умели работать, ссылали, сгоняли в лагеря, морили голодом, расстреливали. Но это не все. Коллективизация — как раз тот случай, о котором Талейран сказал: "Это было больше, чем преступление, это была ошибка". Ошибка, за которую и советская экономика, и население расплачиваются вот уже почти шестьдесят лет.

Все понимают (сошлюсь хотя бы на читательские письма в "Известиях" от 6 января), что колхозы и совхозы неэффективны, что от них давно пора отказаться. Кажется, почему бы не сказать, наконец, те самые слова — *ошибка, просчет*, — после которых всем (в том числе, думаю, и самому генеральному секретарю) стало бы легче дышать? Ан нет. Оно, понятно, экономика, но оно же, увы, и политика.

И стахановское движение стоило бы охарактеризовать теми же простыми и точными словами: преступление, ошибка. Может быть, Михаилу Сергеевичу, по молодости лет, видятся в нем только цветы и флаги. А было другое. Были процессы над честными людьми — рабочими, инженерами, учеными, которые не желали портить материалы, калечить станки, возводить плотины на незатвердевшем бетоне. Их судили за все: за саботаж передовых методов и поломку станков, за противодействие политике партии и диверсию...



Летели головы, а вместе с ними валилось в тартарары качество изделий, уходило в прошлое добросовестное отношение к труду, да и простая порядочность. И если бы у генерального секретаря хватило смелости называть вещи своими именами, то на вопрос директора "Юманите": "Есть ли еще очереди?" он ответил бы: "Да. Фундамент их был заложен в тридцатые годы, когда были совершены две трагические ошибки: коллективизация и стахановское движение".



II.

Центральный сюжет пятилетки. — Почему именно ВАЗ? — Громче и энергичнее. — За успехи тоже бьют. — Результирующая многих слагаемых. — Маятник показателей. — Два мотива. — Главный материал страны верит в призраки.

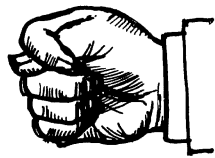
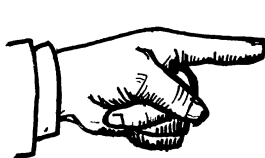
Хотя одиннадцатая пятилетка завершилась, ее окончательные итоги пока не известны. Однако без большого риска ошибиться можно предположить, что в этой пятилетке темпы роста национального дохода были близки к трем процентам. В новой пятилетке этот показатель должен возрасти до 4,7 процента в год.

Кому-то может показаться, что разница не столь велика. Но это заблуждение. Три процента, с учетом роста населения, — означает топтание на месте, 4,7 — развитие, прогресс. Именно поэтому в июне 1985 г. Горбачев решился на неслыханный шаг — публично вернул на "доработку" представленный Госпланом проект "Основных направлений...".

Ладно, оставим в покое прошлое — оно мрачно. А мы сегодня настроены светло и радостно, ибо все наши мысли отданы будущему. Страна вступает в новый этап своего развития, в двенадцатую пятилетку!

Насчет этапа я говорю не просто так. Двенадцатая пятилетка отличается от предыдущих не только номером. "Советское общество вступило в новый этап своей истории, — сказал М. С. Горбачев. — Суть его в том, что потребности развития производительных сил, потребности народа, потребности людей ставят в повестку дня вопрос об очень серьезной перестройке и совершенствовании многих сторон производственных отношений, методов хозяйствования, приемов, форм, стиля партийного и государственного руководства, то есть политики".

Звучит впечатляюще. И в самом деле. Кроме конкретных целей (например, догнать республику Того по производству сыра — 3,6 кг на человека в год), в XII пятилетке предстоит решить куда более серьезные задачи. Основных задач, собственно, четыре: ускорение темпов развития экономики, переход от экстенсивных методов к интенсивным, повышение качества продукции, рост производительности труда.



Но тогда возникает вопрос: почему Госплан, где, конечно, знали настроение нового руководства, представил ему такие данные? Ответ ясен: это был максимум того, что советская экономика *может*. Однако и генсек был по-своему прав: он потребовал (и, естественно, получил) те темпы развития, в которых страна *нуждается*. Конфликт между *нужно* и *можно* и образует, очевидно, центральную сюжетную линию двенадцатой пятилетки.

Понятно, Горбачев весьма заинтересован в том, чтобы доказать, что его повышенные цифры реальны. Поэтому советская печать энергично муссирует два момента: обязательства ВАЗа и итоги второй половины восьмидесят пятого года.

Действительно, если ВАЗ — Волжский автозавод — в состоянии не только достичь, но и превзойти показатели нового пятилетнего плана, задача в принципе реальна и для других предприятий.

Почему, однако, в роли эталона выступает именно ВАЗ? Конечно, предприятие большое, мощное, но мало ли таких предприятий в стране. ВАЗ строили итальянцы, фирма Фиат. Они и заложили в проект программу развития — количественного (ежегодный прирост на столько-то процентов) и качественного (переход от одних моделей к другим). *Заложили* — в данном случае не абстракция, все показатели были рассчитаны на много лет вперед. Инженеры Фиата предусмотрели все, даже нехватку в СССР стали нужных марок; для ее производства были запроектированы конвертеры. Конвертеры высокое начальство вычеркнуло: "Стали у нас хватает". В результате завод очень скоро оказался на голодном пайке.

Дошло до того, что однажды ВАЗу дали план ниже расчетных цифр. Другие бы радовались, а эти подняли крик: "Хотим больше!" Их осадили. Началась паника; было очевидно, что выпустить больше машин куда легче, чем пересчитать все производство на новые показатели.

И тут кого-то из дирекции осенило. Было срочно созвано рабочее собрание, принявшее повышенные обязательства, или, по модной в семидесятые годы терминологии, — встречный план. По чистой случайности, разумеется, цифры встречного плана точно совпали с расчетными данными итальянцев.

Из министерства последовал грозный звонок: "Перестаньте валять дурака!" Но тогдашний директор (и нынешний министр автомобильной промышленности) сделал голубые глаза: "Инициатива рабочих". Кончилось тем, что без стали остался кто-то другой. Может быть, история повторяется?..

Столь же сомнителен и второй довод. Да, скажем, в третьем квартале 1985 года выпуск промышленной продукции заметно вырос — на 5 процентов по сравнению с первым полугодием. Тонкость, однако, в том, что в первом полугодии показатели были крайне низкими, на грани срыва.

На что же в таком случае надеется Горбачев? Боюсь, что на "давай, давай". Скажете, неоригинально? Верно. Но расчет на то, что новые руководители, имеющие перед глазами печальный опыт старых, будут кричать громче и энергичнее. Даст ли это эффект? На какое-то время, несомненно.

Дело в том, что советское производство обладает мистической силой, которой начисто лишено производство на Западе. Если производственная мощность западной фирмы — тысяча машин в месяц, то в особом, экстремальном случае фирма способна дать 1010, от силы 1020 машин. Чтобы довести выпуск до 2000 машин, понадобятся уже новое оборудование, новая технология, новая организация труда и производства.

В СССР же вполне обычны случаи, когда бригада или цех выполняют месячный план за два-три дня. Газеты пишут о таких фактах по-разному: иногда — восторженно, иногда — укоризненно. Но сам этот факт никого не удивляет, все понимают, что план — нечто такое, что не имеет прямого отношения к реальной производственной мощности.



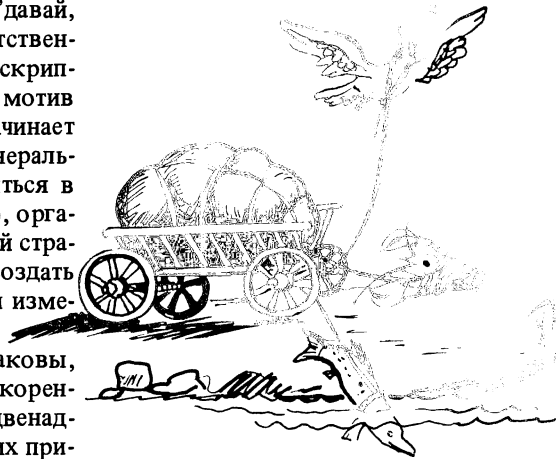
От чего действительно зависит выпуск продукции, сказать чрезвычайно трудно. Прежде всего, по-видимому, от снабжения сырьем, материалами, инструментом. А еще? От стихийно возникшего темпа, сложной игры норм, расценок, фонда заработной платы. И, разумеется, от ОТК: доведя требовательность к качеству до нуля, можно обеспечить ощутимый рост производства. Наконец, в распоряжении предприятия есть такой солидный ресурс, как приписки. При запутанной до предела системе отчетности не так уж трудно наскрести пару процентов. Обычно опытный директор этим средством не злоупотребляет, хотя бы потому, что за слишком высокие показатели тоже бьют — увеличением плана на следующий год. Но если случай особый, если Родина требует...

Не следует, однако, думать, что все тут так просто. Конечно, и пропускная способность предприятия, и темпы ее роста складываются как бы стихийно. Но вместе с тем каждый из этих показателей представляет собой результирующую многих слагаемых: технического оснащения предприятия, технологии, организации производства, снабжения, квалификации работников, уровня руководства и т. д. Изменение одного из них (например, улучшение руководства) вовсе не гарантирует повышения эффективности системы.

Разумеется, особой стабильностью такая система не отличается. Внешний толчок (скажем, резкое улучшение материально-технического снабжения) способен вывести ее из равновесия: маятник показателей качнется в сторону большей выработки. Но так как все остальные факторы не изменятся, колебания постепенно затухнут, и маятник вернется в исходное положение.

Похоже, что Горбачев это понимает. Поэтому параллельно с партией ударных инструментов "давай, давай" (дисциплина, организованность, ответственность) звучит тема лирическая, которую ведут скрипки: тема коренной перестройки. Этот, второй, мотив становится все уверенней, так что порой начинает казаться: какая-то конкретная программа у генерального секретаря все-таки есть. Ясно, что надеяться в считанные годы изменить технику, технологию, организацию производства или снабжения огромной страны он не может, но зато он может попытаться создать хозяйственный механизм, который сделает эти изменения возможными.

Если планы Горбачева действительно таковы, если он в самом деле собирается произвести коренную перестройку системы хозяйствования, то двенадцатая пятилетка войдет в историю. Увы, никаких признаков подобного развития событий пока нет. Отличие от прежних времен можно усмотреть только в том, что старый, заржавленный экономический механизм работает под аккомпанемент дружных криков о перестройке. Все это подозрительно напоминает историю с подпоручиком Кижеем, ибо ни один из кричащих не в состоянии вразумительно объяснить, в чем, собственно, должна состоять перестройка.



До сих пор считалось, что сколько-нибудь существенное ускорение темпов развития производства невозможно без изменения его материальной базы. Неужели генеральный секретарь, которому по должности положен титул Главного материалиста страны, верит в призраки?

III.

Стыдно быть экстенсивщиком! – Игра цифр. – Ничего не меняется. – Что подразумевал Владимир Ильич. – Социалистический паллиатив. – Ставки предельно высоки. – О тех, кто вне игры. – Чудес не бывает. – Противоборство снаряда и брони. – Исход борьбы предрешен. – Бесценное богатство – коллективный опыт. – Замкнутый круг.

Разговоры о том, что от экстенсивных методов развития пора бы уже, наконец, перейти к интенсивным, идут довольно давно – четверть века. С приходом к власти Горбачева они приобрели новую тональность – категорического императива: иного выхода у нас нет, экстенсивный путь себя исчерпал. Один рабочий недавно заявил в газете: "Стыдно быть экстенсивщиком!"

А ведь в самом деле стыдно. Простая мысль о том, что природные ресурсы ограничены, пришла в голову уже первобытному человеку. Ее следствием был постепенный переход от охоты и сбора плодов к скотоводству и земледелию. Но подлинная интенсификация производства, как объясняют знающие люди, связана с капитализмом: с частной собственностью, товарно-денежными отношениями, конкуренцией.

Человек, изготавливающий глиняный горшок для себя, не обязательно будет заниматься калькуляцией: расход глины, расход воды... Капиталист, который намерен организовать массовое производство горшков на продажу, вынужден все учитывать. Заниматься производством себе в убыток бессмысленно, а поднять цену выше какого-то предела нельзя: конкуренция.

О капитализме сказано немало плохих слов, некоторые – не без оснований. Как бы то ни было, система товарно-денежных отношений вынуждает не только хозяина предприятия, но и всех, кто на предприятии работает, стремиться к минимальным затратам и, значит, экономить. Ведь от того, удастся ли реализовать продукцию предприятия, зависит благополучие не только хозяина, но и работника.

Октябрьская революция упразднила частную собственность. Заводы, фабрики, недра, леса, поля стали всеобщим достоянием. В этих условиях вопрос о том, сколько одно народное достояние (завод) потратит другого народного достояния (сырья) для создания третьего народного достояния (готовой продукции), теряет свое значение. Пусть вас не гипнотизируют нормы расхода, цены, ставки зарплаты. Все это чистая мистификация, игра цифр, ибо круговращение происходит в рамках одной формы собственности – государственной. И никто из игроков – ни рабочий, ни директор, ни министр – от экономических результатов своей деятельности не зависит. Предприятие может израсходовать на производство изделия один килограмм или сто килограммов сырья, его продукцию могут купить или выбросить, – от этого ровно ничего не изменится. При социализме норма расхода материалов, цена изделия, зарплата – не экономические категории, а всего лишь *средства учета*. К примеру, вода для полива дается колхозам и совхозам бесплатно, а минеральные удобрения стоят сравнительно дорого. В результате воду рас-

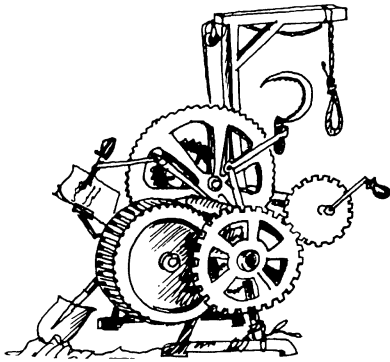


ходуют с такой щедростью, что она смывает почву. А минеральные удобрения? Их выбрасывают. Как тут не вспомнить классика. "Интенсификация земледелия, — писал В. И. Ленин, — не случайное, не местное, не эпизодическое, а *общее* явление всех цивилизованных стран".

Не станем, однако, спешить с выводами. Считая интенсификацию прямым следствием цивилизации, Владимир Ильич, несомненно, имел в виду общество, построенное на обычных отношениях собственности. Мы же имеем дело с системой, в которой эти отношения либо упразднены, либо искорежены до неузнаваемости. Вряд ли можно утверждать, что Советский Союз не подготовлен к переходу на интенсивный путь развития *технически*, главная проблема в том, что он не готов *экономически*.

В СССР это тоже понимают. Поэтому наряду с типовыми выкриками "перейти", "добиться", "обеспечить" все громче звучат голоса тех, кто предлагает заменить нынешние — скорее вредные, чем бесполезные, — показатели (*антистимулы*) новыми, создать, как выразился М. С. Горбачев, *противозатратный механизм*.

Как же должен быть устроен такой механизм и возможен ли он вообще? Собственно, один механизм такого типа нам известен — это капитализм. Значит, речь идет о паллиативе, социалистическом эквиваленте свободного рынка.



Что ж, теоретически говоря, — дело вполне возможное. Однако до сих пор все попытки использовать социалистические паллиативы неизменно кончались неудачей. Механизм конкуренции успешно работает сотни лет, механизм социалистического соревнования всегда действовал только на бумаге. Советские тресты, организованные в 20-е годы "на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли", вскоре были ограничены в правах, а затем и ликвидированы. Оказалось, что их усилия направлены куда-то не туда. Примеров этого рода более чем достаточно. Ни один из великого множества показателей (план, фонд зарплаты, нормативы численности персонала и т. д.) не выполняет своего прямого назначения: все они дей-

ствуют как-то не так. Если даже это цепь случайностей, то не усматривается ли тут закономерность?

Основной принцип свободного рынка — автоматическая (прямая и обратная) связь производства и потребителя. Связь эта сугубо экономическая, то есть изначальная, затрагивающая коренные интересы участников. Поэтому ставки высоки, игра идет с полной отдачей сил.

При социализме эти естественные связи разорваны, и потребитель вообще выведен из игры. Все сведено к системе ручных связей между производителем и вышестоящими инстанциями, связей, в которых присутствует что угодно (политика, личные пристрастия, амбиции), но только не экономика. Для "инстанций" производство — отнюдь не источник удовлетворения жизненных потребностей, но прежде всего объект управления, точка приложения (и источник) власти. Понятно, что в этой системе показатели выполняют сугубо утилитарную роль — служат средством контроля за выполнением директив. Согласитесь, было бы чудом, если бы одновременно они выполняли еще и какие-то полезные функции.

Но чудес не бывает, и если управляющие специализируются на придумывании все новых контрольных столбиков — показателей, то управляемые находят все новые способы их обойти. История советской экономики и есть, в сущности, история противоборства снаряда и брони, стремления власти навязать производству свою искусственную мо-

дель поведения и естественного, почти инстинктивного сопротивления управляемых любым потугам административного гения.

Легко догадаться, что исход борьбы предрешен. Досужим домыслам десятка чиновников противостоят жизненные интересы миллионов людей. И если какой-нибудь тугодум-директор и не сообразит вовремя, как обойти очередную инструкцию, ему подскажут, к его услугам бесценное богатство — коллективный опыт, мудрость народа.

Наивный человек спросит: а почему бы нам и в самом деле не перейти от экстенсивного пути развития к интенсивному? На вопрос можно ответить вопросом: а почему мы раньше не перешли? Ведь каждому нормальному человеку ясно, что интенсивный путь неизмеримо выгодней. Ссылки на исторические особенности, географию, генетику и прочие премудрости не убеждают. Конечно, Россия пришла к капитализму позднее Англии, Франции или Германии. Но пришла. И одним из важнейших свидетельств того, что переход состоялся, как раз и было применение интенсивных методов. И напротив, победа социализма сопровождалась возвратом к экстенсивным методам. Почему? Ответ ясен: потому что работать так неизмеримо легче. Строго говоря, интенсивное развитие — путь *вынужденный*, навязанный производству *необходимостью*, и как только необходимость отпадает, производство закономерно возвращается к прежним методам, ленивым и рачительным.

А если мы введем в действие некий противозатратный механизм, систему мер, стимулирующих бережливость? Польза, наверное, будет. Только не станем обольщаться. Стимулы — условие необходимое, но недостаточное. Иной человек десять раз подумает, прежде чем решит, что ему выгоднее: тратить усилия на экономию сырья, материалов, энергии — и получать за это дополнительное вознаграждение, или работать без особых наград, но и не слишком утруждая себя. Боюсь, что одних стимулов мало, нужна именно *необходимость*.

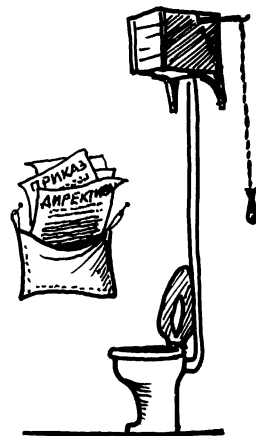
Но и это не все. Для перехода нужны еще условия, реальная *возможность* работать интенсивно. А это уже зависит от общего состояния хозяйства: от техники, технологии, организации производства, снабжения... Круг замкнулся. Разорвать его, видимо, можно лишь одним способом: изменив самый механизм хозяйствования, перейдя от административных методов управления к экономическим.

IV.

По рецепту Шерлока Холмса. — К вопросу о приоритете. — Все, все, что гибелью грозит, или даешь Главлущка! — Мудрая осторожность. — Последствия были бы ужасны. — Как быть с другими случаями. — Причины и сверхпричины. — Без догмата. — Глухая стена. — Мысли о тщете знания. — Давно пошел бы по миру. — Эта глупая брызгалка. — Спутники и мясорубки.

Сообщение в "Правде" от 3 октября 1985 года. Центральный Комитет КПСС рассмотрел вопрос о предложениях трудящихся и отметил, что серьезного внимания заслуживает, в частности, предложение наладчика К. Никитина создать вневедомственную службу технического контроля.

Сказано мимоходом, предложение отнесено в конец длинного списка "заслуживающих" идей, а между тем, это та самая капля воды, из наблюдения над которой, как утверждал незабвенный Шерлок Холмс, рационально мыслящий человек может сделать вывод о существовании Атлантического океана.



Начнем с того, что предложение наладчика Никитина не совсем оригинально. Впервые оно было высказано более пятидесяти лет назад, а затем из года в год повторялось. Определить, кому принадлежит приоритет, трудно, ибо в числе соавторов этого предложения — рабочие и журналисты, кинорежиссеры и инженеры, руководители предприятий, писатели, мыслители...



Конечно, времена нынче другие. Раньше просто обсуждали, а теперь ЦК КПСС вынес постановление: всем, кому надлежит, "рассмотреть и доложить". Казалось бы, что тут рассматривать: за полвека идею успели изучить вдоль и поперек. Да и в чем проблема? Взять и создать какой-нибудь Главлущкач, подчинив ему контролеров всех заводских и фабричных ОТК. Просто? Но если что-то и может вызвать немедленный крах советской экономики, распад социализма и новую революцию, пока безы-

мянную, — то именно эта мера. Так что, согласитесь, Центральный Комитет нашей партии проявил мудрую осторожность, поручив всего лишь "рассмотреть и доложить".

Допустим (конечно, сугубо гипотетически), что новая организация создана, что все ОТК перешли в ее ведение и первым своим приказом начальник Главкача обязал контролеров оценивать качество продукции строго по нормативам. Одновременно вводится система премий за каждый случай обнаружения брака.

Последствия будут ужасны. В первые же дни остановится великое множество (может быть, большинство) предприятий; поезда, теплоходы и машины будут уходить пустыми; с прилавков магазинов исчезнут последние товары.

Если кто-то думает, что в последующие дни положение улучшится, ибо руководители предприятий спохватятся, что-то осознают, — он глубоко ошибается. Полнейшее равнодушие производителей к качеству выпускаемой продукции — неоспоримый факт. Телевизоры, которые не включаются уже в магазине; приемники, работающие два часа; часы (знаменитого 2-го Московского часового завода), не желающие идти; станки, которые "с колес" отправляются в ремонт; одежда, скроенная по моде прошлого века; и как апогей, апофеоз — огромная партия обуви с каблуками, пришитыми спереди.

С созданием Главлущкача таких случаев станет поменьше. Но как быть со случаями, когда предприятие просто не в состоянии выпускать продукцию, отвечающую хотя бы минимальным требованиям? Причины, так называемых объективных причин, сколько угодно: устаревшее и изношенное оборудование, низкое качество сырья, отсутствие приборов контроля, неритмичность снабжения, слабая подготовка рабочих и инженеров, дефекты, заложенные в самой конструкции...

Можно ли устранить все эти причины? Разумеется. Только для этого надо сначала оснастить предприятия оборудованием высокого качества (а где его возьмешь?), изменить технологию, разработать приборы, наладить снабжение, ввести новую систему оплаты труда, сломать психологические стереотипы. И тогда?.. Нет, боюсь, что и тогда положение существенным образом не изменится. Ибо у истоков всех причин лежит сверхпричина: отсутствие догмата, критерия качества.

Советская система планирования вовсе не случайно построена исключительно на показателях количественных. Это не значит, что власти не понимают значения качества. Просто для оценки качества у них нет эталонов, и они не знают, как их ввести.

Вы, наверное, заметили: все призывы к повышению качества упираются в глухую стену: "достичь уровня лучших мировых стандартов". Почему эта стена глухая? Да потому, что никаких мировых стандартов просто нет, это фикция.

Зачем же руководители партии и правительства сотрясают воздух, призывая добиться того, чего нет? Во-первых, затем, что советского человека обязательно надо озадачить, без этого он чувствует себя неуютно. Во-вторых, эти самые стандарты — благозвучный эвфемизм другого, не совсем приличного слова — конкурентоспособность. Наконец, в-третьих, этот ученый термин позволяет обойти стороной те конкретные вопросы, которые напрашиваются при знакомстве с западными критериями качества.

Сами по себе такие критерии существуют: как иначе мы могли бы отличить очень хорошую вещь от просто хорошей, среднюю — от плохой или вовсе от брака? В Советском Союзе эту работу выполняют особые аттестационные комиссии, составленные исключительно из специалистов. Увы, ученые комиссии постоянно ошибаются, что наводит на грустные размышления о тщете знания. А кто же делает это на Западе? Да, собственно, никто, или, если угодно, *все*. Владелец фирмы, заказывающий новое оборудование. Фермер, покупающий трактор. Но прежде всего — безымянный покупатель в магазине, которому предлагается на выбор двести сортов сыра или двадцать моделей микроволновой печи стоимостью от 500 до 3000 немецких марок (150–900 рублей по официальному курсу).

Не стоит думать, что самая дешевая печь — самая плохая, а самая дорогая — отличная. Так не бывает: иначе хозяин одного из заводов давно пошел бы по миру. Все печи хорошие — то есть исправно выполняют свои потребительские функции. Разница не столько в качестве, сколько в диапазоне возможностей. Грубо говоря, дешевая печь только готовит и разогревает еду, а роскошная может еще и причесать мальчика, торопящегося в школу...

Чтобы яснее показать разницу в советском и западном подходе к качеству, возьмем что-нибудь вполне элементарное — скажем, устройство для полива, в просторечии именуемое брызгалкой. Впервые я увидел эту брызгалку в Австрии. Короткая невзрачная трубочка торчала посреди газона и опрыскивала его — сектор за сектором. Но какая гениальная штука. Конструкция — наипростейшая, расход энергии и воды минимальный, опасности разрушения и смыва почвы — никакой.

Потом я видел эти устройства всюду: в Германии, Франции, в Австралии. Даже у нас в Багдаде. Говорю "даже", ибо конструкция — израильская, а наша миролюбивая страна, упаси Аллах, никаких (или почти никаких) отношений с агрессором не поддерживает. Но брызгалки так хороши, а на свете столько торговых фирм, готовых заменить сомнительную этикетку (разумеется, с согласия производителя) вполне благонадежной, что грешно упускать возможность.

Ну, а если обычная брызгалка вас не устраивает? Она ведь глупая — брызгает куда придется, не учитывая ни влажности почвы, ни ее температуры, ни скорости испарения. Пожалуйста, купите конструкцию с компьютером. Она несколько сложнее и дороже, но зато сама будет измерять параметры почвы и выбирать оптимальный режим полива.



А теперь почитаем, что пишут советские газеты об отечественной дождевальной технике. Оказывается, из 19 миллионов гектаров орошаемых земель лишь немногим более семи миллионов обслуживается машинами, остальные — вручную; этой операцией заняты в стране сотни тысяч поливальщиков. Старые машины — "Днепр", "Фрегат", "Волжанка", ДДН-70 — явно неудовлетворительны, а новые — "Коломенка" и "Кубань" — невероятно дороги. "Кубань", например, стоит 130 тысяч рублей. Впрочем, и это не самое страшное. ДДН-70 иначе, как в стиле водомета работать не может. Вода размывает грядки, уносит гумус. Только за один полив ДДН-70 смывает

с гектара до 30 тонн земли. На восстановление плодородия почвы, уничтоженного поливами, ежегодно расходуются сотни миллионов рублей.

Господи, в чем тут дело? "Главное, — меланхолически замечает "Правда", — сделать машину, запустить ее в серию, получить вознаграждение, а за результат пусть отвечают другие". Это и есть социалистическая система хозяйствования: нужен не урожай, нужны показатели. Зачем нам какая-то брызгалка? Нам подавай тысячесильный агрегат, водомет, тонны воды, сотни тысяч рублей...

"Почему мы умеем делать космические корабли и не умеем туфли?" — спрашивает в газете некий чудак-рабочий. Из той же нехитрой логики исходит вся государственная программа повышения качества. Раньше, дескать, нам просто было не до качества — гнали количество. А вот теперь уже навалимся на качество всем миром и такие туфли отгрохаем — на уровне "Союза" и "Салюта".

Верно. Сконцентрировав усилия страны на туфельном фронте (лучшие конструкторы, уникальная техника, высокая зарплата), можно соорудить обувь, которая человечеству и не снилась. Но отгрохать таким способом сразу все (например, мясорубку) — не удастся: никаких усилий не хватит. И потом, а что же будет с количеством: с выполнением планов дальнейшего подъема, повышения и прочего? Будет плохо. Ясно, что допустить этого мы не можем.

Да и так ли оно важно, это пресловутое качество? Нет, конечно. Пока о качестве вещей судят аттестационные комиссии, все в наших руках. Вот когда дозволено будет судить потребителю... Только когда это будет?



V.

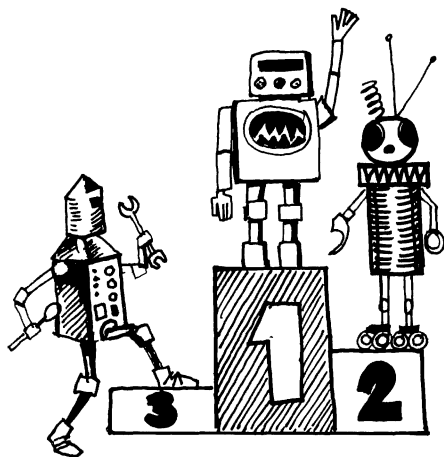
Так-то оно так... — Кто ближе к заветной цели? — Конечно, профанация. — Фантастические результаты. — То, что лежит на поверхности. — Хотя бы понимать. — Ни организационно, ни идеологически. — В мире, где все от всего зависит. — Пока, к сожалению, пессимист.

Мне уже случалось говорить, что Программа КПСС в новой редакции не страдает излишней конкретностью. Собственно, на многих страницах Программы цифра всего одна: за предстоящее пятнадцатилетие производительность труда должна возрасти в 2,3–2,5 раза.

Откуда такое предпочтение? Да это же ясно. Кто не знает, что производительность труда — главное, решающее условие окончательного перехода к коммунизму. Так-то оно так; а все ж таки... Вот, к примеру, в Алжире были скважины, которые давали ежедневно до 6000 тонн нефти, а у нас в Ираке (по крайней мере на моей памяти) лучшие скважины давали не более 300–400 тонн в сутки. Если учесть, что количество обслуживающего персонала от дебита скважины не зависит, то выходит, что Алжир в 10–15 раз ближе к заветной цели. Обидно.

Вы скажете: профанация, добывающая промышленность не показательна. А какая показательна: обрабатывающая? Хорошо, возьмем Японию. В Японии сейчас десят-

ки тысяч промышленных роботов (число их растет так быстро, что точной цифры не называю — боюсь соврать). Это больше, чем во всем остальном мире. Известно, что приличный робот заменяет десятки людей, а обслуживают группу роботов всего два-три человека. Поскольку производительность — это частное от деления объема выпускаемой продукции на число людей, которые ее производят, результаты получаются фантастические. Надо ли понимать это так, что Япония уже стоит на пороге светлого будущего?



Похоже, прямой связи между единственной цифрой в Программе и гениальной формулой Ленина все-таки нет. Тогда почему же именно эта цифра попала в Программу? Да потому, что она по крайней мере *реальна*. Все остальное — ускорение темпов роста, переход с экстенсивного пути на интенсивный, улучшение качества — более чем сомнительно, а вот повышение производительности — задача вполне разрешимая. Я рискнул бы сказать: в принципе даже не очень трудная.

От чего зависит ее выполнение? Прежде всего, конечно, от техники. Продадут нам современное оборудование — мощные станки, автоматические линии, роботы — и производительность рванется вверх. Не секрет, что работаем

мы в СССР так плохо, что резервов (и не скрытых, а открытых, лежащих на поверхности) у нас действительно много. Так что новая техника — только один из них. Есть еще организация, снабжение, дисциплина, заинтересованность...

И просто — штатное расписание. Давно замечено, что на импортный завод, где должны работать десять человек, мы ставим восемьдесят, а то и все сто. Зачем? Причин тут много, но не последняя — боязнь безработицы.

Здесь все странно. С одной стороны, рабочих не хватает: на ряде заводов Урала и Сибири инженеры во вторую смену выполняют функции рабочих (за плату, слава Богу), с другой — мы как огня боимся штатных сокращений. Наивные западные эксперты подсчитали, что прямо сейчас — без всякого ущерба для дела и без изменения техники и технологии — в СССР можно уволить 15–19 миллионов человек, то есть 15–20 процентов всего населения, занятого в отраслях материального производства. Вот вам еще один, вполне реальный резерв существенного повышения производительности труда.

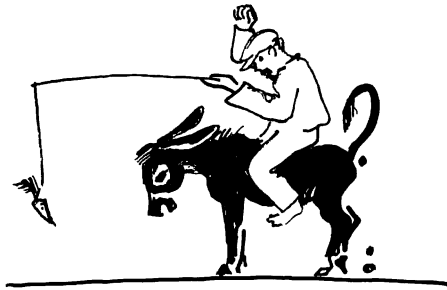
Так почему же он не используется? А потому, что, создав колоссальную, централизованную до предела производственную империю, советское руководство не в состоянии не то, что управлять ею, но хотя бы понять, что в ней происходит. Знаменитый щекинский эксперимент потому и почил в Бозе, что возникла угроза стихийных сокращений. Процесс мог стать неуправляемым, и никто не решился бы предсказать, к чему он приведет: к давно назревшему перераспределению рабочей силы или к полной дезорганизации производства и созданию — пусть временно — армии безработных. А к этой последней возможности советский аппарат не подготовлен ни организационно, ни идеологически.

Итак, планируя существенный (хоть и не очень высокий) рост производительности труда, партия и правительство оказываются в сложном положении. В одном случае (техника, технология) подъем экономики зависит от стран Запада, в другом (организация, снабжения, штаты) — от факторов, которые, в свою очередь, суть функция многих обстоятельств. Есть, кажется, едва ли не единственный резерв, который можно привести в действие уже сейчас — ужесточение норм. Неслучайно этому фактору посвящено и осо-

бое (не очень, правда, рекламируемое) постановление, и прочувствованные строки в Программе.

Впрочем, нет, — существует еще одна возможность: снижение качества. До сих пор эта возможность использовалась чрезвычайно широко, и, реально оценивая ситуацию, можно полагать, что этот резерв будет приводиться в действие всякий раз, как возникнет необходимость.

Сталкиваясь с человеком ежедневно, не замечаешь, как он стареет. Постоянное общение с магазинами дает тот же эффект. Начинает казаться, что в продаже всегда было не больше трех сортов сыра, что нитки, чайники или иголки от сотворения мира были дефицитом, телевизоры не включались уже в магазине, часы не шли. Помните, в чем разница между оптимистом и пессимистом? Пессимист считает, что было плохо и будет еще хуже. Оптимист тоже признает, что было плохо, сейчас стало хуже, но убежден, что хуже быть не может. Пока, к сожалению, я пессимист. ●



Станислав Ежи ЛЕЦ

ТАМ, ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО СМЕЯТЬСЯ

Прогресс геометрии: генеральная линия — больше не совокупность множества точек зрения.

Кошмар знаменосца: он кажется себе знаменем.

Иногда и республиками правят голые короли.

Все кандалы мира образуют единую цепь.

Вот это мученик! Он держится на кресте неприбитым.

Некоторые национальные трагедии идут без антрактов.

У него была мания преследования: ему казалось, что за ним кто-то ходит. А это был всего лишь сотрудник органов.

Кулак хотел ударить. Один палец разогнулся: "Я только указательный!" — пояснил он.

Там, где запрещено смеяться, обычно нельзя и плакать.

Из "Непричесанных мыслей"

ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ САМОЕ ВАЖНОЕ

Заметки об отечественном кино

До отъезда в Израиль осталось два дня. Укладывались последние чемоданы и добывались продукты для проводов. Вдруг — телефонный звонок и знакомый голос:

— Узнали, что ты уезжаешь. Ждем тебя в гостинице "Москва" пообедать на прощанье. Стол накрыт, бери такси.

Меня встретили в вестибюле три депутата Верховного Совета союзной республики в почти одинаковых костюмах с красно-голубыми флажками-значками на лацканах пиджаков: председатель республиканского Госкино, директор киностудии и секретарь республиканского Союза кинематографистов. Мы поднялись в номер.

За столом один тост следовал за другим. Мне желали счастливого отъезда, прилета, устройства, пили за мою семью, за остающихся, за нашу дружбу и, конечно, за кино, благодаря которому мы подружились. Председатель Госкино сказал: "Если бы наша республика находилась в Израиле, я бы тоже уехал." Директор студии, покосившись на телефон, громко произнес: "Об одном тебя просим, служи своей новой родине верно, но и старую не продавай. И великую нашу партию помни — ей мы всем обязаны." Председатель Госкино подмигнул, режиссер толкнул меня локтем, а директор студии наступил под столом мне на ногу, — дескать, все это говорится для "них". И я подумал, что все семнадцать лет, пока я работал в кино, я слышал эти слова: "мы" и "они". Даже самые высокопоставленные чиновники, одно слово которых решало судьбу фильма, спрашивали: "Примут ли они фильм", "Как они решат?"

Не помню, чем кончился обед, но до сих пор у меня сохранилось ощущение, что и прощаясь, я разговаривал с людьми, живущими по закону двоемыслия и не скрывающими этого. Люди эти не были исключением. Таково правило государственного кинематографа.

1. "Для помыва ног"

Советский кинематографический словарь сообщает: "В Германии с момента захвата власти национал-социалистами (1933) кино было превращено в орудие фашистской пропаганды". В 1935 году Геббельс организовал Управление кинематографии во главе с Фрицем Хиплером: оно распоряжалось огромными денежными средствами, частная деятельность в области кинематографии была прекращена, все киноустановки национализированы, фильмы снимались только с разрешения этого Управления. Однако нацисты лишь повторили советскую модель: в нашей стране кино было монополизировано государством еще в 1919 году. С тех пор Госкино помещается в доме № 7 по Малому Гнездиновскому переулку в центре Москвы. Дом этот до революции принадлежал миллионеру Лианозову. Тогда особняк был двухэтажным, позже его надстроили, а в семидесятые годы присоединили к нему еще один корпус: растущая бюрократия государственной кинематографической машины требует все новых кабинетов для чиновников.

В каждой союзной республике есть свое Госкино и свои студии художественных и документальных фильмов. Автономным республикам иметь национальную кинематографию не положено. Если (как это было с Карело-Финской ССР) республика превращается из союзной в автономную, она лишается права на собственный кинематограф. Бывшая автономная, став республиканской (Молдавия), приобретает его. Возглавляют Госкино проверенные партийцы. При мне ими были генерал-майор госбезопасности А.Романов, человек крайне невежественный и злой, и сменивший его партийный функционер Ф.Ермаш, который откровенно говорил, что в искусстве он ничего не понимает и оценивает картины с политической точки зрения. Республиканскими Госкино ведают относительно мелкая сошка. Одного из них я спросил, кем он работал раньше. Оказалось, директором банно-прачечного треста. С гордостью отметил, что по его инициативе ввели шайки особого фасона с надписью "Для помыва ног".

Пользуясь выражением Герцена, можно сказать, что партия и политическая полиция расположились в кино, как армия в оккупированной стране. Необходимым они признают лишь то, что отвечает прямому государственно-партийному требованию. Главная задача — выполнение политических задач: кино обязано откликаться на все последние постановления. А так как кинопроизводство в СССР отсталое и медлительное, сценарии и фильмы утверждаются долго, то продукция не поспевает за директивами. Из-за этого даже вполне правильные фильмы кладутся на полку. С некоторых пор стало опасно представлять на экране вождей. Режиссер М.Хуциев, чтобы спасти картину, разгромленную Хрущевым, заставил героев участвовать в первомайской демонстрации: они проходят мимо трибуны, на трибуне стоит Хрущев. Но Хрущева неожиданно сместили, и многострадальную "Заставу Ильича" пришлось послать на новую доработку. Весьма сложное и рискованное дело — требуемый агитпропом показ врагов. Экран требует конкретности, и коварные замыслы империалистов, неокOLONIALISTОВ, гегемонистов и пр. должны предстать в зримом облике. Е.Дзиган поставил двухсерийный боевик "Север, юг, восток, запад", где во врагах легко угадывались китайцы. Но с ними начались переговоры, и ленту отправили в архив. Дело не только в том, что облик врага меняется: американцы, китайцы, западные немцы... Дело и в том, что режим боится адекватного изображения политического или потенциального военного противника на экране, будь то американские морские пехотинцы, солдаты НАТО или афганские повстанцы. И все же в конечном счете власть получает от кино то, в чем она в тот или иной момент нуждается: славных защитников Родины, покорителей целины, тружеников социалистических полей, сталеваров и т. д.

2. Кинонепослушание

Выпущенный не так давно на экраны и весьма разрекламированный за рубежом фильм Элема Климова "Распутин" был снабжен многозначительным эпиграфом: "...Страна резких социальных контрастов, в которой бюрократия и цензура всемогущи и где попираются права человека." Цензура потребовала снять эпиграф. Цензура может потребовать все; ее приказы не обсуждаются.

Февральская революция 1917 года упразднила цензуру. Октябрьская ее восстановила: государственный контроль над тем, что сейчас именуется средствами массовой информации, был учрежден на десятый день после переворота. С 1918 года существовала разветвленная система контроля за кинотеатрами и цензура фильмов. Идеологическое объяснение дал Луначарский: "Слово есть оружие." В 1922 г. явилось на свет ведомство, которое в быту называют "лит", а полуофициально — Главлит: Главное управление по охране государственных тайн в печати. Меньше чем через год в дополнение к "литу" для контроля над зрелищами был создан действующий поныне Главрепертком.

Однако в отличие от печатного слова, художественный фильм не так легко подвести под действие того или иного запретительного параграфа. Ни одному из цензоров, например, не удалось точно сформулировать претензии к фильмам грузинского режиссера Отара Иоселиани, неторопливым, мудро-отрешенным, внешне спокойным и внутренне взрывчатым. Каждая лента Иоселиани проходит десятки обсуждений, получает бесчисленное количество поправок, потом безо всяких объяснений годами не выпускается на экраны. Как выразить недовольство картинами Иоселиани в терминах секретного законодательства, где ничего не говорится об иронии постановщика, о его нежности, грусти, насмешке, о ненавязчивой независимости его взглядов?

Все это потребовало своей, ведомственной цензуры, понимающей, что кино воздействует на зрителей иными средствами, чем литература, и что неугодные настроения и мысли могут быть выражены при абсолютной безупречности текста. Это понял раньше других Луначарский, писавший в 1930 году: "Вопросы цензуры... являются, в сущности, второстепенным делом. Первостепенным является тщательная организация руководящих идеологических штабов." В 1940 г. журнал "Партийное строительство" высказал чрезвычайно важную мысль: "Успех большевистской печати решают кадры редакторов". К кинематографу полностью применима особенность советской цензуры, на которую обратила внимание Н.Мандельштам: "У нас ведь не цензура выхолащивает книгу — ей принадлежат лишь последние штрихи, а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку." Подробное исследование советской киноцензуры, ее структуры, а также истории читатель найдет в работе В.Головского ("СССР: внутренние противоречия", 1985, № 12).

В сталинское время верховным цензором был Сам — смотрел каждую картину, распоряжался благополучием, жизнью и смертью ее создателей. В последние годы его жизни даже сталинские подручные не вправе были иметь своего мнения о кинофильмах. Но в тридцатых годах высокопоставленные ценители еще сами приезжали на Гнездииковский и принимали фильмы вместе с редакторами Госкино. Слово гостей было, разумеется, решающим: чаще оно губило картину, иногда спасало. Так было с "Чапаевым", не сошедшим с экранов до сих пор, но превратившимся из "революционной драмы" в киносказку для детей. Для своего же времени (1934 г.) картина режиссеров братьев Васильевых была необычной и смелой: белые в ней — не примитивные злодеи, а идейные и отважные враги, главный герой — малограмотный, далекий от марксизма человек; в финале этот герой не побеждает, а погибает.

Тогдашний руководитель Госкино Б.Шумяцкий позвонил на "Ленфильм" и предупредил, что принимать картину будет сам Буденный. Самоучка, как и Чапаев, унтер-офицер и вахмистр во время Первой мировой войны, С.М.Буденный командовал во время Гражданской войны Первой Конной армией, а в тридцатых годах занимал не слишком высокую должность инспектора кавалерии, но входил во ВЦИК и сталинское окружение. Поэтому его оценка считалась окончательной. Шумяцкий особенно опасался за одну сцену и даже приказал ее вырезать: это была сцена атаки каппелевцев, один из лучших эпизодов фильма. Офицерская добровольческая часть полковника Каппеля идет на чапаевскую позицию под пулеметным огнем в четком строю, под барабанный бой, с развернутым знаменем, оставляя трупы, но не кланяясь пулям и не убыстряя шага. Справа на экране — офицер в исполнении Г.Васильева. Психическая атака вносит в ряды красноармейцев растерянность. "Красиво идут", — говорит один из них, забыв, что нужно стрелять. "Интеллигенция", — отвечает другой.

Васильевы рискнули — приехали в Москву рано утром и сидели на вокзале на коробках с пленкой, чтобы отдать их механику на Гнездииковском в последнюю минуту, когда будет уже не до расспросов. Просмотр закончился гробовым молчанием. Затем Буденный сказал: "Как идут, черти, как идут!" — и пошел пожимать руки авторам. Сцена с каппелевцами понравилась ему больше всего, и Шумяцкий тоже принимал поздрав-

ления. С тех пор под защитой Буденного критики отмечали в фильме "правдивое изображение белогвардейцев".

И позже случалось, что судьбу фильма решали вожди. Более двадцати лет назад автор этой статьи присутствовал на съемках уже упомянутого нами фильма режиссера Марлена Хуциева "Застава Ильича" по сценарию Г.Шпаликова. Эпизод "Вечер поэзии" снимался в Политехническом музее: вечер был настоящим, свои стихи читали Михаил Светлов, Булат Окуджава, Римма Казакова, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Григорий Поженян. Действие фильма было приурочено к 1961 г.

Мой репортаж со съемочной площадки успел появиться в журнале перед тем, как в марте 1963 г. Хрущев собрал в Кремле деятелей литературы и искусства и обругал еще не готовую картину, которую вдобавок он сам не видел: "Вы что же, хотите восстановить молодежь против старшего поколения? Поссорить их? Внести разлад в дружную советскую семью?" Он имел в виду не только картину, но и статью Виктора Некрасова, который похвалил сценариста за то, что наконец-то на экран "не выволокли за усы все понимающего, на все имеющего четкий и ясный ответ старого рабочего". Подхалимы задыхались от возмущения: "Позор!" Затем авторов долго прорабатывали на всевозможных активах и пленумах, а когда через несколько лет перекроенная лента вышла на государственные экраны под названием "Мне 20 лет", ее кинематографические находки оказались растасканными по десяткам ремесленных изделий, и непосвященные удивлялись: "Что же в ней новаторского?" Это был великий загубленный фильм и сломанная режиссерская судьба: до однажды достигнутой художественной высоты М.Хуциеву больше подняться не удалось.

Режиссер нарушил правило игры, первейшую заповедь советской кинематографии: создавать иллюзию реалистического искусства, подделку под него. Так же как издающиеся миллионными тиражами романы Г.Маркова или А.Чаковского не имеют отношения к литературе, большинство фильмов не имеет отношения к искусству. У официального кино есть свои корифеи, аналогичные таким фигурам, как Марков и Чаковский. Самым знаменитым, обласканным, увенчанным премиями и увешанным орденами режиссером был умерший в прошлом году Сергей Герасимов. В торжественном некрологе говорилось, что скончался "художник, с именем которого связаны многие славные страницы истории отечественного кино". В фальшивом мире советского экрана оказывается под подозрением все, что имеет отношение к реальным жизненным проблемам, к тому, чем живут, о чем спорят, чему завидуют, чему на самом деле радуются и из-за чего страдают советские люди. В этом кино могут быть прекрасные актерские сцены, режиссерские находки, хорошая операторская работа, красивые пейзажи и даже достоверные частности, за которыми, однако, всегда стоит большая неправда: кинофестончики прикрывают мир рабского труда, чудовищного быта, унижительного существования, слежки и несвободы. Власть оценивает художника прежде всего по степени послушания и лишь во вторую очередь — по таланту.

Но специфическое кинонепослушание не всегда сразу заметно, и редакторы обязаны замечать невидимые простым глазом идеологические изъяны — тонкие намеки, сомнительные эвфемизмы, нежелательные ассоциации, неуместные параллели, опасные реплики, несовпадения с требованиями только что прошедшего или готовящегося пленума ЦК. А на случай, если они что-то проглядят, существует специальная киноцензура, подчиненная Главлиту и Госкино, — Отдел контроля за кинорепертуаром Управления по кинофикации и кинопрокату. Без его "разрешительного удостоверения" не может демонстрироваться ни одна картина. Отдел находится на студии "Мосфильм" в комнате за железную дверь, в нерабочее время опечатывается.

Кроме кинематографической, существует ведомственная цензура. Например, цензура Главного политического управления (ГлавПУР) министерства обороны СССР. Эта цензура тоже ведет не столько военными тайнами, сколько идеологией. По требованию

ГлавПУРа сняли с экранов достаточно бездарную, но показавшуюся опасной картину о дезертире времен Второй мировой войны "Трясина", поставленную Г.Чухраем. По этому поводу даже шел спор между ГлавПУРОм, Госкино и отделом культуры ЦК КПСС. Фильм то выходил на экраны, то изымался из проката, после чего, под новым названием "Нетипичная история", он был все же разрешен. Правда, в армии его не показывали.

3. "Лучше новый танк не построим, чем пустим этот фильм"

Но и редакторская цензура не всегда объясняет подлинные причины запрета фильма. Иногда она считает нецелесообразным говорить вслух об идеологических дефектах и предпочитает ссылаться на "антихудожественность". Автору обошедшего весь мир "Андрея Рублева" режиссеру Андрею Тарковскому было заявлено, что он "искажил русскую историю" (любопытно, что формулировка в точности повторила сталинское обвинение по адресу второй серии "Ивана Грозного" Сергея Эйзенштейна; тот же упрек был предъявлен Тарковскому в статье об "Андрее Рублеве", появившейся не так давно в одном из журналов русского Зарубежья). Сценарий Василия Аксенова "О, этот выюноша летучий!" по мотивам русского сатирического фольклора XVII века зарезал художественный руководитель студии им.Горького С.Ростоцкий, причем в этом случае решающими оказались даже не идейные соображения: Ростоцкий, человек неодаренный и рвущийся к административным постам, не хотел, чтобы талантливый сценарий достался его главному конкуренту на студии П.Арсенову. Приговор художественного руководителя гласил: "негативное изображение русского народа".

Уже упомянутый фильм Э.Климова о Распутине (первоначально он назывался "Агония") запретили в 1975 г. Многие сцены изъяли, исторические события разбавили искусственными, выдуманными эпизодами. Перекройка была завершена в 1981 г., в следующем году картину начали демонстрировать за границей под названием "Распутин", еще через три года решились показать советским зрителям.

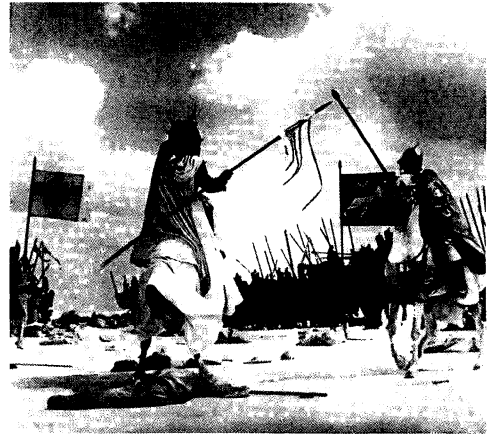
"Тему" Глеба Панфилова не выпустили на экраны из-за того, что ее персонажи принадлежат к областной номенклатуре, а быт этого класса — государственная тайна. Весьма часто — и об этом хорошо знают в СССР — фильм идет на второстепенных экранах, в каких-нибудь клубах, или в провинциальных городах, но не идет в главных, столичных кинотеатрах. Он не изъят, но и не вполне разрешен. Например, "Пастораль" Отара Иоселиани и "Цвет граната" Сергея Параджанова демонстрировались только в Грузии и Армении (в Москве фильм Иоселиани счастливы могли видеть на закрытых для рядовой публики экранах). Напротив, лента украинского постановщика Ю.Ильенко "Белая птица с черной отметиной" о присоединении в 1939 г. Западной Украины шла везде, кроме Украины. "Андрей Рублев", когда он, наконец, вышел, долгое время еще сохранял статус полузапрещенного произведения, и столичные ценители творчества Тарковского ездили смотреть картину в Ленинград. "Зеркало" — другой шедевр режиссера, ныне покинувшего страну, — шло в Ленинграде и Риге, но не показывалось в Москве и Киеве. И хотя Ленин сказал, что в СССР не может быть запрета на его пожелание, очевидно, не относится: местные стражи благочиния не могут сказать сомнительному фильму "да", но против их "нет" никто спорить не станет, по этой части они в своих вотчинах хозяева.

Изымаются и кладутся на полки ленты прошлых лет, если показанные в них события теперь освещаются и оцениваются по-другому. К таким фильмам относятся, например, "Чистое небо" Григория Чухрая и "Тишина" Владимира Басова, появившиеся в



Тема Номер один

Кадры из фильмов: "Октябрь" (реж.С.Эйзенштейн), "Рассказы о Ленине" (С.Юткевич), "Человек с ружьем" (С.Юткевич), "Ленин в Октябре" (М.Ромм), "Шестое июля" (Ю.Карасик).



Империя

Кадры из фильмов: "Александр Невский" (С.Эйзенштейн), "Иван Грозный" (С.Эйзенштейн), "Петр Первый" (В.Петров), "Адмирал Нахимов" (В.Пудовкин).



**Революция
и война**

Кадры из фильмов: "Юность Максима" (Г.Козинцев и Л.Трауберг), "Подвиг разведчика" (Б.Барнет), "Тихий Дон" (С.Герасимов), "Щорс" (А.Довженко), "Чапаев" (братья Васильевы).



**Советский человек
на экране**

Кадры из фильмов: "В шесть часов вечера после войны" (И.Пырьев), "Кубанские казаки" (И.Пырьев), "Большая жизнь" (Л.Луков), "Сказание о земле Сибирской" (И.Пырьев), "Возвращение Василия Бортникова" (В.Пудовкин).

хрущевское время, — в них говорилось о репрессированных и реабилитированных. По той же причине картины, годами лежавшие на полке, иногда вдруг попадают в прокат, и даже значительным тиражом. Фильм А.Германа "Операция "С Новым годом!" был запрещен в 1975 году и разрешен через десять лет; теперь он называется "Проверка на дорогах". Пятнадцать лет назад казалось, что партизаны выглядят недостаточно героическими. За это время понятие о герое претерпело изменения, и фильм перестал пугать. Но запрещенная по той же причине картина А.Аскольдова "Комиссар" лежит на полке до сих пор.

Мы уже упомянули об ограничениях на географическое распространение кинофильма: это тоже способ разлучить зрителя с артистами и режиссером. Формально фильму дается "разрешительное удостоверение", его создатели получают положенное вознаграждение, но картину выпускают незначительным тиражом на короткое время в окраинные районы. В свое время так поступили с "Балладой о солдате", прежде чем она сумела пробить себе путь в большой, в том числе международный прокат. О картинах Тарковского мы уже говорили. Добавим к этому списку "Историю Аси Клячиной, которая не вышла замуж, потому что гордая была" А.Михалкова-Кончаловского, "Дневные звезды" И.Таланкина, довольно безобидный фильм Г.Панфилова "Прошу слова", сборник киноновелл "Путешествие" по рассказам В.Аксенова ("На полпути к луне", режиссер Д.Фирсова, "Завтраки сорок третьего года", режиссер И.Туманян, "Папа, сложи", режиссер И.Селезнева) .

Одно из загадочных экранных табу — образ еврея. Формально правилами "лита" демонстрировать евреев на полотне не запрещено, но фактически невозможно, даже в облике жуликов, сколачивающих капитал для отъезда в капиталистический мир. Однако вырезать еврея из классического произведения литературы затруднительно и вдобавок будет бросаться в глаза. Такая проблема возникла перед режиссером Сергеем Бондарчуком при экранизации чеховской "Степи". Бондарчук возглавляет в советском кино крайне правое течение, стремящееся приблизить светлое будущее, когда на съемочных площадках команду "Приготовились — мотор!" будут произносить люди с безукоризненными фамилиями и безупречным происхождением. В руководимую им мастерскую во Всесоюзном институте кинематографии евреи не принимаются, как впрочем и в большинство других мастерских ВГИКа. Этой линии Бондарчук держится и в своем творчестве. Он знает: чтобы не ошибиться, мало следовать намеченному партийной курсу — нужно быть всегда чуть правее.

Вот как выглядит в фильме "Степь" корчмарь Мойсей Мойсеевич (цитирую советский журнал "Искусство кино"): "Он непрестанно размахивает руками и фалдами в преувеличенном переживании то восторга, то ужаса... Поминутно гнется в дугу спина, поминутно кривится улыбкой лицо. Не оживляется, не освещается, а именно кривится. Удивительная эта улыбка, и столько в ней всего: и угодливости, и страха, и желания быть приятным, и готовности к неза заслуженному, но всякий миг ожидаемому унижению... Мойсей Мойсеевич всеобщий раб, всеобщий прислужник, да еще добровольный шут. Каждый раз прилежно и даже вдохновенно играет он положенную роль, пугливо озираясь при этом, потому что уже и кнутом получить приходилось, даже не в переносном, но и в самом прямом смысле слова". Вслед за этим рецензент перечисляет качества, которыми наделен в фильме брат Мойсея Мойсеевича Соломон: презрение и ненависть к окружающим, неудовлетворенное чувство превосходства, зависть. Так выглядит карикатура на еврейских персонажей повести Чехова в экранизации С.Бондарчука и правдивом пересказе журнала "Искусство кино". Против этого цензура не возражает.

Когда старейший советский кинодраматург Леонид Трауберг написал для режиссера Иосифа Хейфеца сценарий фильма "Тевье-молочник" по Шолом-Алейхему, отдел культуры ЦК КПСС запретил постановку. Да и могло ли быть иначе? Ведь пришлось

бы восстанавливать на экране еврейский быт Украины: ярмарки, свадьбы, детские игры, бродячие театры; роль Тевье, чья судьба напоминает и многострадального Иова, и короля Лира, должен был играть Божьей милостью актер Юрий Толубеев (ему и принадлежала идея экранизации, к Тевье он готовился всю свою театральную жизнь и умер, так и не сыграв его), а роль Менахем-Мендла, "человека воздуха", — Сергей Юрский. Мудрому, неунывающему и нестигаемому Тевье нет места в советском кино, а Мойсею Мойсеевичу в интерпретации Бондарчука — есть.

Нечего и говорить о том, что с экрана бесследно исчезли произведения художников, которые не выдержали двусмысленности своего положения и эмигрировали. Новое поколение советских зрителей незнакомо с кинематографическим творчеством режиссеров М.Богина, Г.Габая, М.Калика, А.Тарковского, Б.Фрумина, оператора М.Суслова, актеров О.Видова, С.Крамарова, В.Федоровой, Л.Круглого и даже живущего и работающего на Западе с советским паспортом А.Михалкова-Кончаловского. Писатель В.Аксенов сообщает: "Запрещен был мой последний советский фильм, снятый по оригинальному сценарию, — "Когда безумствует мечта" (режиссер Юрий Горковенко, "Мосфильм", 1979). Это была музыкальная комедия (композитор Г.Гладков) о первых русских авиаторах... Снималось целое созвездие: Басов, Быков, Карачанцев, Боярский, Анофриев, Ливанов и даже старик Филиппов. Премьера в Доме кино прошла на "ура", прокат заказал огромное количество копий, но тут разразился скандал с "МетрОполем", и все рухнуло. Я написал генеральному директору "Мосфильма" Н.Сизову (генерал, бывший начальник московской милиции. — С.Ч.) и предложил снять свое имя, чтобы из-за таких пустяков, как имя сценариста, не лишать народ удовольствия, а казну денег. Ответа не было, конечно, а фильм лежит на полке с того времени, если не смывает. По подсчетам мосфильмовских экономистов, казна лишилась сорока миллионов рублей, однако чекист В.Беляев (главный редактор "Мосфильма". — С.Ч.) сказал: "Мы лучше новый танк не построим, чем пустим этот фильм." Подозреваю, что танк они все-таки построили.

4. "Партийное истолкование материала"

Произведения, удовлетворяющие партийным требованиям, тиражируются во многих тысячах копий и расходятся по всей стране. Разумеется, содержание требований, при общей застылости и неприкосновенности идеологии, может подвергаться весьма серьезным изменениям. Желающий остаться на коне режиссер обязан это учитывать. Например, он должен учитывать национальные традиции. С некоторых пор цари стали похожи на "отцов народа" (известные ленты о Петре Первом, Иване Грозном). Религия на экране была исключительно "опиумом для народа" и, собственно, им и осталась, но после того, как государство нового типа стало выдавать себя за наследника и продолжателя традиций, в кино появились иконы и церкви — в том объеме, какой достаточен для подчеркивания этой преемственности. В московской патриархии появилась должность консультанта кино.

Если задача исторических фильмов — фальсифицировать прошлое, то фильмы на современную тему должны убеждать мирных граждан в необходимости трудиться на благо родины, а военнослужащих — ненавидеть потенциального врага. К сорокалетию победы над Германией начальник отдела кино Главного политического управления Советской Армии поместил в журнале "Искусство кино" статью, где рассказывал о роли кинематографа в идеологической обработке молодых солдат: за два года срочной службы каждый солдат обязан посмотреть двести кинофильмов. И, конечно, совсем неслучайно пропаганда подняла на щит далекий от реальности "трудовой" фильм сценариста А.Гельмана и режиссера С.Микаэляна "Премия", где бригада строителей откачивается от денежной премии, считая, что она выписана незаслуженно.

К кинематографу, этому важнейшему, согласно известному изречению Ленина, из всех искусств, применимо определение Алена Безансона: "силой навязать людям ирреальность и получить всеобщее признание в верноподданнических чувствах". Всем своим обликом экранный герой внушает зрителям, что советская власть даровала им свободу и зажиточную жизнь, а вот бездуховный и бесчеловечный капиталистический мир, мир эксплуатации и угнетения, не дал своим гражданам ничего. При этом не имеет никакого значения, что каждый из сидящих в зале живет в своей квартире по милицеской "прописке" и без разрешения не может переехать в другой город, не может устроиться там на работу, что его зарплаты еле хватает на то, чтобы прокормить семью и билет в кино — быть может, одна из немногих вещей, которые можно приобрести без знакомств и очередей, да и то не всегда. Но чтобы экранная ирреальность не перешла в реальность, существует сложная система писанных и неписанных правил, так или иначе запрещающих анализировать устои власти, говорить о действительных проблемах и коллизиях повседневной жизни советского человека, о подлинных трагедиях и драмах времени, о голоде, разрухе, жертвах террора предыдущих десятилетий, о существовавшей и существующей репрессивной системе. Кстати, уголовный лагерь стал появляться на экране, но в фильмах В.Шукшина "Калина красная" и Э.Рязанова "Вокзал на двоих" он выглядит такой же фантазмагорией, как и все прочее, чему процеженное сквозь цензуру киноискусство старается придать видимость реальности.

Все недостатки советской жизни строго дозированы и регламентированы: это "родимые пятна капитализма". Экранная жизнь выражает скорее представление режима о том, каким он хотел бы видеть действительность. Н.С.Хрущев рассказывал югославскому дипломату, что Сталин в последние годы получал сведения о России и мире из специально создававшихся для него фильмов. Нынешние вожди, вероятно, лучше представляют себе действительность, но режим по-прежнему рисует свой киноавторпортрет красками радужными и мажорными. Партия требует жизнеутверждающего кино, вселяющего в людей бодрость и веру. Возможно, для блюстителей дум советских людей в конце концов не так уж и важно, верят ли люди всему, что им говорят, гораздо важнее, чтобы народ подчинялся, чтобы 275 миллионов ощущали необходимость и непобедимость власти, безнадежность борьбы с ней и вели себя соответственно предложенной им экранной модели, внушаемой каждому зрителю с детства. В этом смысле кинематограф стоит в том же ряду средств интеллектуального давления, что и книги, учебники, газеты, плакаты, лекции, официальная живопись, театр, массовая музыка — все средства "воспитания наших людей в духе..." и т.д.

Но требуя от зрителей единообразия в поведении и мыслях, такое кино само становится однообразным — идеологизированным, назойливо-патриотическим, дидактическим, отсталым по форме. Из него уходит фантазия, выдумка, вольность, игра воображения, недосказанность, оставляющие простор для размышлений, — уходит все, что делает кино искусством. Чиновничий аппарат с подозрением относится к каждому яркому фильму, справедливо видя в индивидуальной манере автора, в неповторимости его стиля — диверсию против догмы. А если прибавить к этому самодовольство и трусость правящего бюрократического класса и самих руководителей, их низкий культурный уровень и неразвитый вкус, то яснее станет происхождение эстетики этого "жизнеутверждающего", а на самом деле мещански-провинциального искусства, "цельных и ясных характеров", "доходчивости", "публицистичности", "исторического оптимизма". В сущности, социалистический реализм начался в кинематографе, опередив живопись, театр, архитектуру и литературу.

В мире западного кино постоянно совершаются открытия, рождаются новые и разнообразные традиции, о которых советское кино порой даже не подозревает. Все новое и смелое в нем под запретом. Когда-то этим новым был итальянский неореализм, потом французская "новая волна", позже чешская, кинопоколение "сердитых молодых

людей" в Англии, наконец, в последнее время "параллельное кино" бразильцев во главе с Глаубером Роша, творчество которого в СССР, как и следовало ожидать, находится под запретом: с ним не знакомы даже профессионалы. Полузапрещены самые талантливые кинематографисты Восточной Европы: поляк Анджей Вайда, венгр Миклош Янчо, не говоря уже об эмигрировавших чешских или ставящих свои фильмы на Западе югославских режиссерах. Попытки отойти от канонов аттестуются в очередных постановлениях ЦК КПСС о работе кино как "некритическое заимствование приемов зарубежного кинематографа, чуждых духу искусства социалистического реализма". А "новой вехой" в развитии кино торжественно объявляется очередное идеологическое кино-пошло, сваренное по заданию агитпропа.

Важная часть фильмопроизводства — студии документальных фильмов, выдающие фальшивое изображение за подлинный документ. Эти студии с первых лет советской власти выполняют прямые политические задания; здесь высмеивали религию до того, как стали приручать ее, объявляли шпионами и диверсантами арестованных врагов народа и воспевали победы советской власти: индустриализацию, коллективизацию, Беломорско-Балтийский канал, освоение целины, — перечень этот можно продолжать без конца. Документальный экран — витрина советского режима, сквозь которую не видны пустые полки.

На самих студиях фальсификация не скрывается, — она называется "партийным истолкованием материала": в этом состоит, в сущности, цель и смысл всего предприятия. Это кино, в котором инсценировка подменяет репортаж, высокопарный текст — живое слово, лозунги — мысль и в конечном счете ложь — правду. Нечего удивляться тому, что по производству документальных лент СССР стоит на первом месте в мире: 25 киностудий, 100 корреспондентских пунктов, 30 полнометражных картин в год, 350 короткометражных, 7500 киножурналов.

Справедливости ради нужно сказать, что даже на самой казенной из советских документальных студий — Центральной студии документальных фильмов — появились люди, которые стремятся найти компромисс между нежеланием подличать и необходимостью работать. Иным удается найти свой угол и под видом "постановки моральных проблем развитого социалистического общества" и других благоглупостей братья за темы философские, медицинские, семейные, спортивные, педагогические, делать более или менее серьезные фильмы об искусстве, археологии, архитектуре. Такие фильмы привлекают благодарную публику, ибо обычно картины ЦСДФ никто не смотрит.

5. Кладбище фильмов

Мы не ошибемся, если скажем, что среди деятелей искусства положение кинематографистов самое трудное. Есть литература казенная, полуофициальная и эмигрантская, есть живопись официальная и неконформистская, музыка исполняемая и расходящаяся в самиздатских записях. Но кинорежиссер не может работать для Самиздата и не может писать "в стол". Он работает на средства государства, под его контролем и наблюдением, его рабочая площадка — государственная киностудия. Поэтому кинематограф полон неосуществленных планов, непоставленных фильмов, несбывшихся надежд. Советский кинематограф и кинопрокат — это целое кладбище картин, и родившихся, и неродившихся. Одни снимают, что им приказывают, лишь бы не остаться без работы, других купили и развратили, третьи лавируют: примиряются с действительностью, однако не полностью, сдаются, но не до конца. За право работать приходится платить дорого. В советской кинематографии такая же атмосфера чинопочитания, привилегий, доносительства, слежки, страха, лицемерия, погони за сиюминутной выгодой, что и в любом другом учреждении. Никто или почти никто не позволяет себе серьезных и откровенных бесед с коллегами, несогласованных мыслей, вольных суж-

дений. Лишь очень немногим удается сохранить внутреннюю свободу, индивидуальный стиль, личность. Режиссеры легко взаимозаменяемы: система быстро обезличивает их.

Кино изобилует примерами несостоявшихся судеб, сломанных биографий. Ставшие в нем погромщиками Марк Донской и Сергей Герасимов начинали как талантливые художники, — Герасимов, в частности, был одаренным характерным актером. Закончившие свою карьеру ординарными социалистическими реалистами Абрам Роом и Юлий Райзман вступили в кинематограф свежими и новаторскими фильмами "Третья Мещанская" и "Круг". Всемирно известный киноэкспериментатор Лев Кулешов вообще перестал ставить фильмы после бездарных "Клятвы Тимура", "Мы с Урала" и "Сибирияков" — фильма о том, как школьники сибирского села нашли трубку Сталина...

Не все сдавались без борьбы, хотя каждый вел ее по-своему. Не все кичатся своим рабством, — многие отдают себе отчет в том, какой ценой они купили право работать. Жизнь научила их служить власти, но не научила любить ее. Отсюда двойная жизнь, двойной язык, великое искусство произносить партийные фразы и держать фигу в кармане, зачитывать на собраниях верноподданнические речи и в перерыве запивать их водкой в буфете. Коллега, только что в студийном коридоре, с гневом, с пеной у рта говоривший о "них", выходит на трибуну, чтобы демонстрировать официальное благочестие, добровольно участвуя в борьбе за власть и положение в кинематографе, за премии, привилегии, деньги, славу, начальственные похвалы. "Они" платят щедро: постановочными, то есть гонораром, благоустроенными квартирами, поездками за государственный счет за границу, комфортабельным отдыхом в домах творчества. Всего этого не выдать тому, кто приходит в кино со своей темой, сюжетом, настроением, стилем, с независимым образом мыслей.

Конечно, теперь не сталинские времена; но память о ночных звонках жива, и привычка к покорности осталась. У всех на памяти судьба арестованных режиссеров М.Дубсона, И.Кавалеридзе, М.Калика, М.Посельского, Н.Экка, оператора В.Нильсена, актеров А.Дикого, Н.Эггерта, сценаристов М.Златогоровой, Ю.Дунского, В.Фрида и даже таких высокопоставленных деятелей и руководителей советской кинематографии как Б.Шумяцкий и С.Дукельский или директор "Мосфильма" Б.Бабицкий, не говоря уже о репрессированном в наши дни С.Параджанове. Новое поколение кинематографистов остается, пользуясь выражением Л.Чуковской, "замороженными застенком".

Однако времена в самом деле изменились: власть не хочет восстанавливать против себя художников, и тому, кто не испугался кнута, кто упорствует в своем праве думать не по указке, суют поначалу пряник, за ним ухаживают, его включают в редколлегии журналов, в художественные советы студий, наконец, в правление Союза кинематографистов и его многочисленные комиссии, но... не дают ему ставить фильмы, отвергают его заявки, не утверждают сценарии, бракуют темы. Трудно припомнить талантливого современного постановщика, к которому не применялся бы этот метод. А.Тарковский за двадцать лет поставил пять фильмов. М.Хуциев не ставил картины пятнадцать лет. По десять лет не были на съемочной площадке П.Арсенов, Р.Быков, А.Герман, Э.Климов, В.Мотыль, Л.Осыка, Г.Полока, С.Параджанов, А.Смирнов.

Советское кино хотя и нивелировано, но не до конца, и время от времени в нем появляются художники, которые пытаются своими специфическими средствами, с помощью изображения сказать о том, что они думают о жизни. Ее напор заставляет идеологов искать компромиссные формулировки, кое-что прощать, на кое-что не обращать внимания. Режим безжалостен к слову, но порой прощает его интонацию, дающую выход скрытым в словах чувствам, сообщающую словам иную смысловую нагрузку. У талантливых авторов кинематографический образ преодолевает слово.

В качестве примеров можно привести и отдельные сцены, и целые фильмы. Таков эпизод из фильма "Белорусский вокзал" А.Смирнова: друзья-фронтовики, встретившись спустя много лет в Москве, смогли по-человечески, открыто поговорить только

на нарах в милицейской камере, потому что в публичных местах о войне принято говорить фальшиво. Таковы образы и ситуации "Дневных звезд" режиссера И.Таланкина с А.Демидовой в главной роли. Можно вспомнить детские фильмы для взрослых Ролана Быкова, злую комедию о пионерском лагере Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен"; опустелые проселки и свадебное гулянье под холодным осенним небом в "Осенних свадьбах" Б.Яшина, нежные и печальные фильмы Михаила Калика, наконец, одну из моих любимых картин "История Аси Клячиной..." Андрея Михалкова-Кончаловского с ее спонтанными мизансценами, снятыми скрытой камерой, где вместо актеров снимались крестьяне волжского села Безводное — раскованные, стихийно правдивые, удивительно артистичные. И ставший классическим эпизод этой ленты: разрушенная церковь и монолог Федора Михайловича Родионычева: "А вера, надежда, любовь — это в народе всегда есть..." Можно назвать экранизации классики, где легче обойти идеологические препоны и выразить свою любовь к России — не советской, а той, что была и — кто знает? — может, еще будет. Пляска Наташи, совая охота и смерть старого князя Болконского в "Войне и мире" С.Бондарчука. "Незаконченная пьеса для механического пианино" Н.Михалкова по произведениям Чехова.

Владимир Войнович считает, что настоящая литература не та, что печатается в СССР, а та, что публикуется за границей либо лежит где-то в столах. К сожалению, с кинематографом это невозможно: запрещенный в СССР фильм нельзя показать за границей, и — повторим сказанное выше — картину не снимешь "в стол", для каких-нибудь будущих и далеких зрителей. Войнович говорит: "Я совершенно не разделяю восторгов некоторых моих коллег по поводу того, что такому-то писателю удалось сказать кое-что кое о чем, что-то удалось протащить сквозь цензуру. Я лично предпочитаю книги, которые сквозь цензуру протащить не удалось". В кино положение другое: фильм, который не удалось протащить сквозь цензуру, перестает существовать. Поэтому приходится довольствоваться меньшим. Это не всегда понятно зарубежным зрителям немногих советских картин, попадающих за границу. Не все отдают себе отчет в том, что это значит и чего это стоит — в душной, гниющей атмосфере бюрократического социализма сохранить малую толику независимости. Ничтожная по западным представлениям, она порой производит внутри страны впечатление разорвавшейся бомбы. Даже когда советский художник находит способ промолчать, уклониться, не сказать пошлость или подлость там, где ее положено говорить, — это уже много, это, если хотите, уже есть форма сопротивления. На открытое неповиновение решаются герои, а героев всегда бывает немного. Внутреннее же неприятие коммунизма и советской власти, которое обошло цензоров и дошло до зрителей, приобретает небывалую силу воздействия.

Ален Безансон, которого я уже цитировал, утверждает: "По существу коммунистический режим установился в результате обобществления (захвата государством) средств общения, а не средств производства. Задолго до фабрик и полей были захвачены газеты, издательства, средства массовой информации". Это чудо, что в условиях государственного кино иногда удается восстанавливать на экране правду о жизни, не опровергающую прямо, но делающую очевидной официальную ложь; чудо, что контролируемое сверху донизу кино все-таки умудряется вносить реальный вклад в изменение духовной атмосферы страны.

Когда-нибудь самое понятие "советское кино" станет такой же историей, как фашистское кино в Италии или национал-социалистическое в Германии. Чтобы помочь людям лучше понять страшное время, для новых поколений зрителей будут устраиваться ретроспективы советского кино. Будут демонстрироваться и запрещенные ленты — свидетельство огромного творческого потенциала, не имевшего выхода. Когда-нибудь — так же, как это случилось с послевоенным итальянским и немецким кинематографом, — этот неизрасходованный потенциал подарит миру великие фильмы, достойные живущих на территории СССР народов. ●



ПРАВДА

Орган Центрального Комитета КПСС

БРЕВНО ГИМЕНЕЯ

191 (24448)

Цена 4 коп.

Разводы в наше время стали настоящим бедствием. Что делать? Как укрепить брак? Эта проблема волнует Запад и Восток. В одной стране (Норвегия) власти дарят молодым квартиру; в другой (Австрия) — резко увеличивают пособия на детей, в третьей... В третьей (СССР) разрабатывают сценарий современного свадебного торжества.

Конечно, какие-то обряды существовали и раньше. Церковный — от которого и у человека неверующего перехватывает горло; гражданский — простой, деловой, строгий. Но все это, разумеется, не то. Нашему обществу нужна наша собственная, социалистическая обрядность.

Вопрос важный. Поэтому в его обсуждении участвовала широкая общественность: комсомольцы ленинградского объединения "Светлана", этнографы, фольклористы, психологи, театральные режиссеры, литераторы... Однако окончательный вариант сценария был разработан кафедрой организации массовых праздников Института культуры имени Н. К. Крупской.

Итак, распилив общее бревно, вы со своей невестой зажигаете первый семейный очаг. Вас приветствуют пушкинские Руслан и Людмила, бажовские Катерина и Данила. Дружка читает "Устав Гименея". Гости готовят "Свадебную газету". Потом начинаются состязания — например, между тещей и свекром...

Здорово, правда? Особенно насчет бревна Гименея и выпуска стенгазеты. Сверстникам жениха и невесты это напомнит комсомольские стройки, людям постарше — лесоповал. Эстафета поколений. А зачем стенгазета? Ну, как же — что это за учреждение без стенгазеты...

Интересно проследить истоки новой, социалистической обрядности. Христианство — нет, античностью тоже не пахнет. Похоже, этнографы, психологи, фольклористы и прочие ученые мужи обратились к временам более древним, именуемым в просторечии языческими. Но ведь можно сказать и иначе: эпоха первобытного коммунизма. И это глубоко символично — переключка эпох!

С одним истоком разобрались. А второй? С ним и того проще. Указ, спортивные состязания, стенгазета, а в роли организатора свадеб — фирма "Невские зори" управления бытового обслуживания Ленгорисполкома. Знакомый стиль. Суммируя, мы и получили новую обрядность: языческую по форме, бюрократическую по содержанию.

Увы! Нынче это яркое, красочное празднество упрощено, до предела. Исчезновение бревна еще можно объяснить (с лесом плохо), со стенгазетой тоже понятно — сотрудники Главлита и без того перегружены. Но куда исчез очаг, и почему молодым и гостям отводится роль пассивных зрителей, когда партия призывает нас к активизации человеческого фактора?

"Правда", которая в номере от 17 января поведала грустную историю гибели этого ценного начинания, пишет: "Потребность в ярких и праздничных обрядах сегодня велика". Газета тут же предлагает и решение проблемы: "службу юбилейных и свадебных торжеств передать из "Невских зорь", где она находится на положении падчерицы, непосредственно отделу загса исполкома Ленсовета". Эврика! ●

ТЕОРЕТИК СПРАВЕДЛИВОСТИ

Наряду с актуальной информацией, борьбой за мир, успехами социалистического строительства и победной поступью коммунизма во всем мире Главная Газета страны уделяет внимание и достижениям науки. 5 декабря 1985 г. под рубрикой "Вопросы теории" выступил доктор философских наук, заведующий кафедрой справедливости ростовского не то университета, не то пединститута, точно не известно, — профессор В. Давидович. Справедлилогия — наука, изобретением которой справедливо гордится наша родина. Ее основы были заложены еще Владимиром Маяковским, сказавшим: "Кому бублик, а кому дырка от бублика. Это и есть... республика".

Послушаем маститого ученого.

"Все дефициты переносимы. Только дефицит справедливости непереносим... Несправедливо любое брюзжание по поводу того, что нами еще не сделано, недоделано, принижение наших поистине масштабных свершений".

Удивительно верно сказано! Был у меня один приятель, который вечно жаловался: нет того, нет другого. Нет масла, нет колбасы; за всяком мелочью стой в очереди, без знакомства никуда не сунешься. Он, невежда, считал все это несправедливым. Вот что значит незнакомство с основами науки.

Профессор Давидович продолжает.

"То, что здесь и сегодня предстает как справедливость..., при изменении обстоятельств может выявляться как собственное отрицание — несправедливость".

Тоже в высшей степени важная и новая мысль. Справедливость не есть что-то такое надзвездное. Меняемся мы, меняются наши вожди, а с ними и справедливость. Вчера было черным, сегодня стало белым. Допустим, в 1950 году вас арестовали — тогда это было справедливо. Потом ветер переменялся, и справедливость перешла в собственное отрицание, Был Брежнев, все было замечательно. Теперь Брежнев мертв — и, как бы сказать, перешел в свое отрицание. Диалектика, ничего не поделаешь. А, кстати, что надлежит считать справедливостью сегодня? Профессор справедливоведения отвечает и на этот вопрос: "Завещанный Лениным контроль над мерой труда и потребления". Какая глубина мысли! Теперь понятно, почему я заслужил бублик, а вы — то, что внутри бублика? ●

Б.А.

Протестарии всех стран, соединитесь!



Московский ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Орган Управления и Дорпрофсожа Московской ордена Ленина железной дороги

УГАДАЙ, ЗА КОГО ТЫ БУДЕШЬ ГОЛОСОВАТЬ

Плохо жить в глуши. Например, газету "Московский железнодорожник" от 25 января 1985 г. мы получили только сейчас.

К счастью, есть темы (в литературе их называют вечными), которые не стареют. Любовь. Ревность. Выборы в высший орган государственной власти. Именно этой теме газета посвятила статью "Для тех, кто в пути".

Ситуация в самом деле роковая. С одной стороны, вам прямо-таки позарез необходимо ехать в Тюмень или во Владивосток, с другой — именно на эти дни назначены выборы. Как быть?! Блестящий ответ на этот неразрешимый вопрос нашло Министерство путей сообщения — в 282 поездах были созданы специальные избирательные участки, оборудованные так, чтобы полностью соблюсти тайну голосования.

Конечно, возникли и кое-какие трудности. Выяснилось, например, что заранее рассчитать, за кого избирателю предстоит голосовать, никак не удастся, поскольку поезда, увы, опаздывают. Но так ли это важно? Разумеется, нет. Напротив, это даже хорошо, ибо вносит в несколько официальную обстановку выборов элемент веселой неожиданности. Пожалуй, процедуру можно еще оживить, организовав оригинальную викторину под девизом: "Угадай, за кого ты будешь голосовать?"

Некоторые центральные газеты (их-то мы получаем вовремя) жалуются на плохое обслуживание в поездах: не работает отопление, выбиты стекла, старые вагоны дребезжат... Все это в конечном счете мелочи. Главную проблему железнодорожники решили. Так что мы, вместе с редакцией, с радостью поднимаем бокал кефира за тех, кто в пути! ●

ПРИ ДВОРЕ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЖИ

Размышления над биографией Дмитрия Шостаковича

Шостакович умер 9 августа 1975 года. Весь мир узнал об этом спустя несколько часов, но советским гражданам печальное известие было сообщено лишь через два дня. В некрологе — набор дежурных фраз: "Верный сын Коммунистической партии, видный общественный деятель, художник-гражданин, всю жизнь отдавший..." Под некрологом несколько десятков подписей: Политбюро во главе с Брежневым в начале, музыканты, композиторы и прочие — потом. Шостакович словно знал все это, когда двумя годами ранее положил на музыку стихотворение Марины Цветаевой:

Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили:
То зубы царевы над мертвым певцом
Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям —
Нет места. В изглавье, в изножье,
И справа и слева — ручищи по швам,
Жандармские груди и рожи.

Не дивно ли — и на тишайшем из лож
Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почет сей, почетно — да слишком!

Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,
Монарх о поэте печется!..

Теперь это звучит откровенным вызовом. Но кто мог бы подумать, что стихи о Пушкине, до смерти заласканном царем, окажутся бомбой замедленного действия!

Сходство между двумя судьбами, действительно, немалое. Однако, чтобы выразить себя, Пушкину не приходилось занимать и перефразировать чужие слова. Для Шостаковича это стало едва ли не главной возможностью высказаться о насущном. Прямые и скрытые цитаты — стихотворные и музыкальные, ссылки на свои прежние и чужие произведения, иносказания и намеки образовали за десятилетия особую технику самовыражения, тайный язык, которым он научился пользоваться с необыкновенной изобретательностью.

1.

Незачем повторять общеизвестное о том, насколько могуч и громаден Шостакович как музыкант. Однако жить в музыке и музыкой, пользоваться ею как естественным языком, таящим в себе неисчерпаемые возможности красоты, стройности, не было его

главной целью; красота, стройность, оригинальность стали свойствами его зашифрованных посланий, источником наслаждения даже для тех, кто не искал шифра в его музыке. Таковы многие из его поклонников на Западе, которые восхищаются богатством и силой его речи и даже не догадываются, что это именно — *речь*. Даже в России художественная мощь музыки Шостаковича играет двойственную роль: она дала ему возможность высказывать запретную правду, и она же позволяет воспринимать душераздирающие признания, агонию мысли — как просто искусство. Здесь даже высокопоставленные слушатели предпочитают притворяться непонимающими эстетам.

Композитор как может содействует этой обоюдно удобной близорукости. Он всегда находит приемлемый предлог, всегда подсказывает возможность вполне лояльного истолкования. Как мог бы он изобразить расправу над венгерскими повстанцами 1956 года — с грохотом танков и артиллерии, создать посредством одних мелодий старых революционных и каторжных песен образ страны-тюрьмы, если бы не позаботился связать свою 11-ю симфонию с восстанием 1905 года и приурочить ее к 40-летию советской власти! Он хорошо научился делать успокоительные жесты надзирателям, тайно передавая на волю свои истинные мысли.

Он действительно художник-гражданин: мыслитель, философ, публицист, фельетонист, поэт, проповедник в музыке, живущий бедами и надеждами этого мира, старающийся понять, объяснить, потрясти, заклеить, поддержать. Где же выражено его кредо, сформулированы его взгляды? Не в многочисленных ли статьях, подписанных его именем, не в публичных ли выступлениях, произнесенных не его голосом? Предположить такое было бы слишком уж простодушно. Будущим исследователям предстоит выяснить, какие из этих статей и выступлений отражали его действительные взгляды, а какие были подсказаны с веской аргументацией "так надо", инкрустированы чужими идеями или просто написаны чужой рукой, как (по собственному признанию Шостаковича автору этих слов) его хрестоматийно знаменитый "Мой творческий ответ" — ответ на издевательские редакционные статьи "Правды" в 1936 году — и его покаянная речь на Первом съезде советских композиторов в 1948.

"Так надо". Эта магическая формула, хорошо знакомая советской интеллигенции, не раз заставляла Шостаковича выступать как бы заодно со своими партийными опекунами и наставниками. Не удивительно ли, что именно ему, только что объявленному "формалистом № 1", было поручено отправиться в 1949 г. в США делегатом на Международный конгресс мира, чтобы лично рассказать о мудрой отцовской заботе партии и правительства, о процветании советской музыки.

Лишь статьи и заметки, напечатанные до 1937 года, не вызывают сомнений в авторстве Шостаковича. И по содержанию, и по стилю они напоминают его музыку — угловатые, колючие, откровенные без оглядки, агрессивные и простодушные. Позже мы уже не найдем этой неповторимой, только ему присущей интонации: мысли сглажены, сбалаansirованы, фразы почти безразличны по тону.

Литературное наследие художников, особенно крупных, незаменимо для понимания их времени, биографии, личности. Музыканты прошлого и наших дней, от великих до малозаметных, участвовали в создании гигантского собрания документальных свидетельств об их творческом опыте и отношении к различным сторонам жизни. Шостаковичу было бы что рассказать; однако среди авторов многочисленных "Летописей", "Хроник", "Мемуаров", "Дневников", "Переписок", сборников статей, опубликованных лекций мы напрасно стали бы искать его имя. Противоестественное молчание он предпочел опасной откровенности. Замкнутым и неоткровенным он был даже с ближайшими многолетними друзьями. Среди них не оказалось ни Эккермана, ни Роберта Крафта, ни даже Ястребцева. Все, что сохранилось в памяти знавших его людей и передавалось из уст в уста, — случайные или анекдотические эпизоды, отрывочные мысли, мнения, вырванные из контекста, — не дает почувствовать суть его личности. Склеенные

вместе, эти осколки рисуют карикатурно однобокий образ — как это и получилось у С. Волкова, автора вышедших на Западе мемуаров, несмотря на его старания представить Шостаковича говорящим и стилизовать его хорошо известную специфическую манеру речи.

И все же истинная личность, мысль, характер Шостаковича угадывались современниками. Его имя было окружено особым ореолом. На родине он стал властителем дум и совестью поколений, живших в 30–50-х годах, в тягчайшие десятилетия сталинизма. На Западе он вызывал глубокую заинтересованность и симпатию у миллионов людей. Не легко определить, чем фигура эта привлекала людей столь разной судьбы, воспитания, культуры, мировоззрения. "Шостакович — гениальный музыкант". Бесспорно, но почему не менее одаренный и более ценимый на Западе как музыкант Прокофьев не стал тем, чем стал Шостакович? "Он всего себя выразил в музыке". Разумеется — где же еще? Однако главные его сочинения обладают почти шоковой силой воздействия, требуют исключительных эмоциональных затрат и интеллектуальных усилий, на которые способен лишь подготовленный слушатель. Их, способных и готовых войти в сложный, неуютный, пугающий мир его музыки, не так уж много; но Шостакович жил и в сознании тех, кто не понимал, не любил его музыку, а порой и вовсе не знал ее.

2.

Часто называют его честным художником. Мало кто из его собратьев по профессии удостоивался такого эпитета. Словосочетание это настолько примелькалось, что уже не кажется странным: с каких это пор честность стала эстетическим определением? И все же именно в этом слове — ключ: Шостакович сумел остаться честным под бдительными взглядами надзирателей, несмотря на вынужденные уступки и компромиссы. Его музыка — исповедь, в которой сквозь пестрые одеяния, иносказания и мыслительные конструкции безошибочно ощущаются личность и убеждения автора. Она также и проповедь, потому что, подобно Достоевскому, Мусоргскому, Чехову, Малеру, он не мог довольствоваться одной правдивостью, но мучился бедами земли и страданиями людей, стараясь раскрыть им глаза на самих себя и на свою жизнь, помочь им додумать мысль до конца, стряхнуть благодущие, вспомнить о человеческом достоинстве и ответственности. Там, где тоталитарная машина превращает человеческое общество в дрожащее стадо, честность важнее хлеба.

Даже для малоискушенных слушателей весь строй музыки Шостаковича — серьезный, жестокий, драматичный — был постоянным разоблачением мифа "жить стало лучше, жить стало веселее", придуманного людоедом и столь любезного обывателям. А стране, отсеченной от мирового культурного содружества и традиций, позволившей убедить себя в том, что прошлое полно обветшалых предрассудков, а современность задыхается в миазмах вырождения и духовного распада, музыка Шостаковича напоминала о духовном богатстве и жизненной силе подлинного искусства, о величии старых мастеров, позволяли ощутить пульс современности, который был угадан Шостаковичем еще в молодости и продолжал жить в его музыке, вопреки строжайшему санитарному контролю над духовной пищей, разрешенной к потреблению в советском обществе.

Там, где "великое, единственное верное учение" монополизировало истину и самую логику, Шостакович тревожил мысль, предлагал собственный взгляд на вещи, заставлял задаваться вопросами и искать ответы. В современном варианте родового строя, осиянном лучами единственной "великой личности — вождя, отца, учителя", он осмеливался быть личностью, излучавшей собственный свет. Поклонение "великому светочу" было обязательным обрядом государственной религии, результатом промывания мозгов, формой массовой истерии. Свет, излучаемый музыкой Шостаковича, привлекал, как

маяк, уцелевших в океане лжи и глупости. Он вовсе не стремился к столь опасной роли: просто не мог быть другом.

Тем, кто родился и вырос в свободном обществе, трудно понять, что значит оставаться честным в полицейском государстве, трудно представить себя на месте человека, которому сама мысль о свободе может стоить свободы или жизни. Шостаковичу приходилось быть особенно осторожным. Он чудом уцелел в чистках 30-х годов. Люди беспричинно исчезали, а у него, еще молодого и не слишком заслуженного музыканта, был уже солидный список преступлений: плохая репутация из-за статей 1936 года (после их появления киевская газета предупреждала читателей: "в наш город приехал известный враг народа композитор Шостакович"), сотрудничество с арестованным впоследствии Всеволодом Мейерхольдом, дружба с эмигрантом Евгением Замятиным, с художником Николаем Радловым, вскоре посаженным, с крупнейшим советским военачальником Михаилом Тухачевским, которого ждал расстрел, не говоря уже о многих менее известных друзьях, проглоченных террором.

Машина перемалывала жертвы под аккомпанемент внушительных "так надо", тихих "неужели и он?" и яростных воплей деятелей советской культуры: "Собакам — собачья смерть!", подписывавших кровавые декларации в газетах. Интересно, что имя Шостаковича не появилось среди них ни разу.

3.

Постараемся понять, что это значит — быть честным, поступать по совести под дамкловым мечом страха, когда даже случайное замечание, жест, взгляд могли оказаться роковыми. Поговорка "слово — не воробей: вылетит — не поймаешь" стала звучать зловеще. Цензура делала свое дело — вылавливая неосторожные слова; в некотором смысле она была ангелом-хранителем пишущих, хотя каждое вычеркнутое слово оставляло след в тайных досье.

Еще страшнее была цензура неофициальная: неусыпная бдительность несметных добровольцев-энтузиастов, только ждавших повода, чтобы сигнализировать о "нездоровых настроениях", "подозрительных действиях", "идейных ошибках" своих коллег и соседей, — сигнализировать на собраниях и в печати, формируя общественное мнение, а чаще анонимно или по секретным осведомительским каналам, что густой сетью пронизали тело общества.

Многоглазый надзор над каждым шагом — в поэзии ли, в музыке, живописи, критике, науке — и страх быть разоблаченным определяли, однако, лишь внешнюю сторону дела. Человек, не разучившийся думать, жил в состоянии хронического внутреннего раздвоения. С глазу на глаз со своими мыслями, он находился во власти самого глубокого страха — страха оказаться в одиночестве, потерять взаимопонимание и общий язык с согражданами. В обществе, которое по любому поводу голосовало только единогласно, любая собственная мысль имела пугающий привкус отщепенства, грозила непониманием и осуждением. Положение интеллигенции было особенно сложным. Эта социальная прослойка, как ее именуют в Советском Союзе, — явление специфически русское. Она унаследовала и продолжила идеи тех представителей дореволюционной России, которые видели свою миссию в служении общественному благу — народу, правде, идеалам лучшего, более разумного и справедливого общества.

Это интереснейший феномен: протест и осуждение существовавшего порядка исходили от людей, сформированных этим порядком. Призывая к свободе, они сами были далеко не свободны. Их бунт был попыткой не свержения, а замены авторитета. Отвергая навязанную систему и идеологию порабощения, они всей душой отдавали себя в неограниченное подчинение другой, оппозиционной идеологии. Безразлично, была ли

она политической или религиозной, реформаторской или революционной, западнической или славянофильской, теорией террора или "малых дел", — они служили ей жертвенно, бескорыстно, самоотверженно. Даже убежденные атеисты вкладывали в свое служение поистине религиозный жар, и едва ли не высшую награду видели в том, чтобы пострадать за правду, стать мучеником идеи, пасть "жертвой на алтарь свободы".

Это было именно самоотречение. Идеи они верили больше, чем самим себе. Во имя ее готовности были отречься не только от себя, но и от своих мыслей они ведь так субъективны, переменчивы, ненадежны, тогда как общая идея величественна, а логика ее так неотразимо проста и очевидна!

Авторитарность идеи предпочтительнее авторитарности власти лишь до тех пор, пока идея не приходит к власти. Отчужденная, сделанная кумиром, она, облекшись в форму государственности, порождает наиболее бесчеловечные, нетерпимые, насильственные формы тоталитаризма. Она определяет не только новый государственный строй, но и начинает диктовать строй мысли своим подданным.

К одному и тому же стволу принадлежат идеи, которые привели к октябрьскому перевороту, и те, что в последующие десятилетия стали знаменем протеста против бесчеловечности победившего режима. Новым мученикам идеи нелегко было осознать, что это их и их предшественников порывами, трудами и жертвами создано и держится слепое чудовище, пожиравшее и создателей своих, и детей.

4.

Шостаковичу была уготована необычная судьба. В отличие от многих художников, ему не пришлось годами завоевывать известность. С того дня, когда 19-летний юноша дебютировал своей Первой симфонией, и в продолжение полувека он оставался в центре внимания — и на родине, и на Западе, как музыкант и как личность.

Природа его таланта сказалась сразу. Несмотря на явные влияния — Прокофьева, Скрябина, Чайковского, Вагнера, даже первым рецензентам не пришло на ум упрекнуть симфонию в подражательности, настолько органично соединялись краски в ее прочно сбитом замысле. Шостакович выступил как художник-эклектик в добром старом смысле этого слова, как тот, кто — по Далю — "не следует одному учению, а избирает и согласует лучшее из многих". Стремясь постигнуть свое время, он, подобно Баху, Моцарту, Малеру, Бриттону, сплавливал воедино многие и разные веяния, нимало не заботясь о чистоте *своего* стиля. Обе черты — разнообразие источников и свобода от эстетических предрассудков — сохранились у него на всю жизнь.

Первая симфония лишь отчасти отразила интересы и возможности молодого музыканта. В ней он с юношеской серьезностью пробовал себя в сфере проблемной симфонической драмы, парил на крыльях символических образов, ничем не напоминавших о событиях, настроениях и красках первых послереволюционных лет. Не забудем, однако, что самые первые, детские еще пьески были написаны им под впечатлением разговоров взрослых о Мировой войне; в 1917 году, двенадцати лет, он видел столкновение демонстрантов с полицией на одной из улиц Петрограда. Сами по себе детские впечатления едва ли смогли бы определить будущего композитора, но они помогли ему осознать свою связь с прошлым — с теми соотечественниками, среди которых был его дед, сосланный в Сибирь за антиправительственную деятельность. Было бы ошибкой думать, что на протяжении многих лет Шостакович только под внешним давлением обращался к темам и идеалам Революции, к мыслям о героях и мучениках борьбы за свободу. Они влекли его к себе. Другое дело, что эти темы не доминировали в его творчестве, а их воплощение нередко раздражало пуритански-нетерпимых блюстителей "идейно-эстетической чистоты советского искусства".

Вторая половина 20-х годов совпала с первыми самостоятельными шагами выпускника Ленинградской консерватории. Для молодого и восприимчивого музыканта это было время, полное соблазнов и открытий. После десятилетней изоляции восстановились контакты с европейским искусством. В концертных и театральных залах зазвучала музыка Стравинского, Онеггера, Хиндемита, Шенберга, оперы Берга и Кшенека, несколько позже — симфонии Малера. Шостакович лихорадочно учился, осваивал новую композиторскую технику, экспериментировал в разных стилях, вырабатывал собственный почерк. Этот период был недолгим, но именно тогда его творческая натура получила прививку современности, восприняла гормоны нового художественного сознания и мироощущения.

В краткое пятилетие, принесшее 20-м годам репутацию золотого века, искать новые, революционные пути в искусстве казалось не возможностью, не привилегией, а прямой обязанностью. "Октябрь" стал символом и лозунгом новаторства во всех областях жизни и творчества. Этим лозунгом жили и те, кто развернул по всей стране массовую просветительскую работу, и сами массы, пробужденные ими к творчеству, и такие крупные художники, как Мейерхольд и Таиров в театре, Маяковский в поэзии, Эйзенштейн в кино. Жил им и Шостакович. Все они революционизировали искусство, но настоящую свою цель и миссию видели за его пределами: в обновлении жизни, в раскрепощении умов и душ от унаследованного бремени пошлости, холуйства, хамства, в разоблачении лжи прекраснотолпы и слепых инстинктов толпы. Они видели в себе могильщиков прошлого, санитаров настоящего и строителей будущего. Искусство было для них в конечном счете лишь средством.

Подобно другим, Шостакович хотел быть в гуще жизни, приносить практическую, немедленную пользу, и брался за любую работу: писал музыку к агитационным спектаклям, эстрадным обозрениям на "актуальные" темы, как Маяковский, не жалевший поэтического таланта на сочинение стихотворных реклам, гигиенических и политических плакатов. Новые краски и музыкальные идиомы вошли в музыку Шостаковича: он пародирует ритмы и мелодии оперетт Оффенбаха, дансинга, цирка, мещанский и блатной фольклор, противопоставляя им шаржированные цитаты из Бетховена, Баха, Гайдна, Вебера. Музыка балетов "Болт" и "Золотой век", опера "Нос" и фортепианный концерт изобилуют такими контрастами, смешат меткостью карикатурных преувеличений, искрятся задорным юмором, веселым сарказмом. Пройдет еще несколько лет, прежде чем весь этот материал станет языком иносказаний, хотя уже и тогда в гротеске Шостаковича мелькали образы холодные, пугающе-бездушные, иррационально механические. Среди этого пестрого калейдоскопа масок лишь в редкие и короткие моменты проглядывает лицо самого музыканта — серьезное и живое. Позже он нередко будет говорить музыкой о себе; драматически-напряженные созерцания займут важное место в его симфониях и камерных сочинениях. Но пока — он выполняет социальный заказ: вслушивается в разноголосый шум времени, вглядывается в обличья бурлящей вокруг жизни и спешит, как уличный рисовальщик, тут же возвращать ей ее меткие, налету схваченные портреты.

В этом ряду стоят две следующие симфонии: Вторая, "Октябрьская", и Третья, "Первомайская". Конечно же они были заказаны, отвечали требованиям агит-искусства, укрепляли репутацию композитора как "революционного художника", но были написаны отнюдь не по принуждению. Едва ли Шостакович мог обойти вниманием тогдашние революционные праздники с их неподдельным массовым энтузиазмом, не вдохновиться их особой атмосферой и звучанием. Он создал два оркестрово-хоровых панно, изобразив в одном митинг с громовыми речами оратора, воспаляющими толпу, а в другом — праздничную демонстрацию с юной разноголосицей песен и маршей. Еще ярче эти краски заблистали в безоблачно радостной "Песне о Встречном", которая была написана для фильма, немедленно приобрела неслыханную популярность, а в годы Второй

мировой войны была даже сделана гимном Объединенных Наций. (Фильм был на так называемую производственную тему, и под "встречным" подразумевался не прекрасный незнакомец, а производственный план: энтузиасты-рабочие вызывались сделать больше, чем от них требовало правительство).

В те годы очень немногим художникам удавалось сохранить ясные головы в чаду всеобщего восторга, не забывая, "какое нынче на дворе стоит тысячелетье", разглядеть в медовом месяце революции наступавшее или уже наступившее страшное будущее. Их имена общеизвестны. Они устояли, вовсе не будучи эстетамы, не прячась от жизни в башнях из слоновой кости. Если что и сделало их неуязвимыми, то в первую очередь потребность и способность видеть людей и события собственными глазами. Азарт злободневности, отказ от себя во имя "гражданского долга", разминивание таланта на общественное служение погубили многих; Маяковский, наступивший на горло собственной песне, был одним из них. Шостакович скоро пришел к отрезвлению. Уже в 1931 году он дерзко заявил в печати о засилии халтуры и делячества в политическом агит-искусстве, которому сам отдал пять бурных лет. Более того, почти все сделанное им за этот период он объявил не имеющим художественной ценности. Ему предстояло восстановить единство своей творческой личности, преодолеть разрыв между богатством накопленных художественных средств и примитивностью задач, которые он добросовестно пытался решать. Выросла за эти годы не только его композиторская техника, вырос и он сам как личность, углубилось понимание жизни, ее противоречий, сложностей и проблем. Все это требовало выхода.

5.

Решительный поворот скоро принес удивительные плоды. В 1932 году была закончена опера "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова"), а в 1936 — Четвертая симфония. За плечами была лишь одна пятая творческого пути, впереди — множество сочинений, которые принесут автору широкую известность, но вид, открывающийся с этой двуглавой вершины, никогда больше не предстанет нашему взору. Это была первая великая опера и первая великая симфония, появившиеся в России после революции. Оба сочинения поражают широтой охвата жизни, широтой, которую хочется назвать шекспировской, проникновением в сердцевину вечных проблем существования человека в мире. Оба потрясают глубиной трагизма, особенно неожиданной у композитора, известного своим музыкальным остроумием, чувством юмора, талантом карикатуриста. Главное же в том, что они оказались вершинами его внутренней свободы — концентрированным и неискаженным проявлением того, чем был Шостакович в возрасте 25—30 лет. Теперь нам остается только гадать, каков был бы его дальнейший путь и чем стало бы его последующее творчество, если бы они могли развиваться без помех.

Независимость взгляда на жизнь противоречила советской идеологии и эстетике, особенно на фоне уже нараставшей волны чисток, охоты за ведьмами, арестов и репрессий. Опера, два года шедшая при полных сборах на сцене ленинградского Малого оперного театра, удостоилась редакционной статьи в "Правде", где она была "несправедливо ошельмована", как писала та же "Правда" спустя двадцать лет, — снята с репертуара и осуждена коллегами, которые еще вчера восторгались ею. В течение четверти века, никому неведомая, она считалась позорным пятном на советской музыке. Не дожидаясь повторения истории, Шостакович отменил премьеру Четвертой симфонии в самый разгар репетиций, и это сочинение тоже надолго кануло в небытие, сохранившись только в черном списке идейно-художественных ошибок композитора.

Этот удар был тем сильнее и болезненнее, что был нанесен отцовской дланью партии и правительства рабочего класса, которым Шостакович так преданно служил и име-

нем которых сам еще совсем недавно обличал своих легкомысленных или циничных коллег. Он не кривил душой ни в "Октябрьской" и "Первомайской" симфониях, ни позже, в 1932 году, когда рассказывал читателям газеты "Советская культура" о своей работе над большой вокально-симфонической поэмой "От Маркса и до наших дней" на тексты документов пролетарского революционного движения на Западе и в России, ни еще позже, в 1938 и 1940 годах, когда сообщил о работе над симфонией о Ленине, задуманной, по его словам, еще в 1924 г., в дни всенародного траура. Все это отнюдь не было отвлекающими маневрами, фальшивыми уверениями в лояльности. Он искренне хотел зажечься идеей музыкального памятника Великому вождю Революции, но не мог. Замысел, который вынашивался более сорока лет, принес мертворожденный плод в Двенадцатой симфонии — вялой иллюстрации событий Октября 1917 года.

Годами он внимательно и пылливо изучал музыкально-поэтический фольклор революции, — здесь было несколько больше пищи для воображения. Он охотно и не без увлечения писал в тридцатых годах музыку к кинотрилогии о Максиме и другим фильмам на темы революции. Появление в 1951 году "актуальных" по теме, но довольно подозрительных по колориту и стилю Десяти поэм для хора без сопровождения на стихи революционных поэтов нельзя объяснить только реакцией на незадолго перед тем полученный новый удар бичом. В Одиннадцатой симфонии он обращает революционный фольклор — в новой, монументальной трактовке — прямо против тех, на кого он и обращен: тюремщиков, жандармов, тиранов, которые никогда не переводились на Руси, но лишь после революции окончательно вошли в силу и во вкус, почувствовали себя хозяевами дома и вершителями мировых судеб.

Хотя идеалы революции и обернулись столь мрачной реальностью, Шостакович остался им верен. Он душой с теми идеалистами, которые, по невеселому анекдоту, "сидели и ждали, а потом дождались и сели", искренне полагая себя жертвами недоразумения. Философия революции пленила их стройностью концепции, наукообразием предсказаний, универсальностью истин. Композитор вступил в новый период: после 1936 г. он избирает своим орудием мысль, своей главной формой высказывания — симфонию. За последующие 14 лет из-под его пера вышло шесть симфоний — с Пятой по Десятую. Один за другим, он, говоря словами Малера, "создает миры". Однако, в отличие от малеровских (и его собственной Четвертой) симфоний-исповедей, новые его детища защищены броней логических построений. Каждое из них индивидуально по поэтике, но все они поддерживаются строго рассчитанной системой соотношений, причин и следствий, начал и концов. Речь идет не о музыкальных соотношениях только, но и том, что лежит позади и в основе их стройной музыкальной архитектуры: о соотношениях заложенных в них понятий.

Рационалистичность художественного мышления Шостаковича очевидна. Его словам "я отождествляю программность и содержательность" можно было поверить даже в 1951 году, когда беспрограммная "чистая" музыка считалась формалистической; "у меня лично, — продолжал он, — программный замысел всегда предшествует сочинению музыки". Он никогда не излагал свои программы словесно, лишь иногда намекал на них заголовками. Но программа всегда есть — скрытая музыкальной плотью сложная система развивающихся емких понятий: народ и личность, гармония и хаос, человек и природа, человечность и насилие, радость и страдание, жизнь и смерть.

6.

С самого начала Шостакович проявил себя как прирожденный театральным композитор. Судьба написанных им всего за пять лет трех балетов и двух опер оказалась плачевной. Сделавшись симфонистом, он остался театральным композитором. Его симфо-

нии стали музыкальным драмами. Каждая воспроизводит многоактную структуру действия; действие организовано вокруг центрального события, охвачено единством и развивается в строгой последовательности — от пролога и завязки, через усложнение конфликта и оттеняющие контрастные "сцены", кульминационный катаклизм и очистительный катарсис к развязке и эпилогу. Обобщенность мысли вовсе не ведет к абстракции музыки. Общие понятия становятся зримыми персонажами, ситуациями. Композитор умеет сделать их осязаемо живыми, наделить характерным жестом, интонацией, "осанкой". В толпе тем-"персонажей", в калейдоскопе "сцен" соседствуют и сталкиваются пафос трагедии и площадная буффонада, героика и гротеск, обыденное и иррациональное, ирония и романтическая лирика, инфернальное и буколическое.

Именно рационализмом классической драматургии Шостаковичу удалось задержать закат симфонии в XX веке. Он трактует симфонию как "модель мира". В век плюрализма и относительности он формулирует законченную систему миропонимания и глубоко верит в ее объясняющую силу. В этом, думается, и скрыт секрет притягательности симфонией Шостаковича 30–40-х годов и на родине, где официальная идеология забивала умы людей вымороченными схемами и демагогическими "идеалами", и на Западе, внезапно вырванном из викторианского благополучия смерчем двух мировых войн, экономических кризисов и пораженном ощущением растерянности и беззащитности перед лицом непостижимого враждебного хаоса. И тем, и другим симфонии Шостаковича давали надежду, подсказывали выход, помогали увидеть мир с высоты птичьего полета.

Конструктивного взгляда особенно сильно жаждали левые силы на Западе. Не случайно Пятая симфония с ее грозной монолитной поступью в финале стала одним из символов международной солидарности Народного фронта в борьбе против фашизма и была поднята на щит французской и итальянской коммунистической прессой. Седьмая, "Ленинградская", и Восьмая симфонии были с еще большим энтузиазмом встречены многомиллионными аудиториями в странах антигитлеровской коалиции. Одна — в тоне героической хроники-репортажа, другая — в ключе символическом, порой сюрреалистическом, они с разных сторон исследовали схватку между человеческими ценностями и развязанными разрушительными стихиями, между силами жизни и смерти, и, каждая по-своему, обнадеживающе говорили о будущем. События войны послужили для них только толчком. Пробуждаемая ими мысль универсальна, ибо конфликт и борьба вездесущи — не только между армиями и людьми, но и людскими душами. Для человека, ищущего ясности, созданные Шостаковичем "модели" могут ответить на многие вопросы. Помимо же всего, он — редкостно одаренный, истинный художник, чья музыка и сама по себе, независимо от слова, воплощает мысль с полнотой, слову недоступной.

Заслуги Шостаковича перед страной, его вклад в борьбу против фашизма не избавили его, однако, от кары: он выбивался из строя, позволял себе слишком многое. Его обвинили в формализме в те годы, когда различия между ошибками идеологическими и политическими почти не существовало и критические выступления выглядели как готовые обвинительные приговоры.

Когда и симфония, как способ самоосуществления, стала недоступна, Шостакович не умолк. Неисполненными оставались Скрипичный концерт, 24 прелюдии и фуги, вокальный цикл "Из еврейской поэзии", а в это время он сочинял помпезно-инфантильную "Поэму о лесах", веселые увертюры, кантаты, песни, пьесы для детей. Писал не только чтобы реабилитироваться, оставаться действующим композитором, зарабатывать на жизнь, наконец. Когда жизнь теряет смысл, работа становится смыслом жизни — наркотиком, лекарством от невзгод, возможностью ощутить себя на что-то еще годным человеком. О себе и от имени множества советских интеллигентов Шостакович мог бы сказать в те и последующие годы: "Пишу — значит существую".

После восьмилетнего перерыва — уже после смерти Сталина — он вернулся к жанру симфонии; Десятая, написанная в 1953 году, завершила симфонический период его

творчества, который сделал Шостаковича совестью, примером нравственного стоицизма для духовно еще живых соотечественников. То, что для западных слушателей – просто музыка, было чем-то неизмеримо более важным для людей, живших в герметически закупоренной "отдельно взятой" стране, в атмосфере лжи, фарисейства и страха: символом человеческого достоинства.



7.

Наступила "оттепель", время перемен. Преступления минувшей четверти века были наспех объяснены "культом личности": партия отмежевалась от них, как будто гибель миллионов людей была частным делом некоего Иосифа Виссарионовича. Был громогласно провозглашен курс на восстановление ленинских норм партийного руководства, словно кто-то другой, а не сам первый руководитель Страны Советов был создателем Чека и первым проектировщиком массового террора. Место казненного Берии, разумеется, не осталось пустым, но все же репрессии утратили былой размах, и уцелевшие жертвы чисток стали возвращаться из тюрем и лагерей. Граждан призвали высказываться открыто и безбоязненно, и хотя эти поощряющие жесты особого доверия не внушали, часть территории была все же разминирована. С многочисленными оговорками было

позволено вспомнить кое-что из прошлого, а в размышлениях о настоящем и будущем рождалось диссидентство, делавшее первые робкие шаги под лозунгом "соблюдайте свою собственную конституцию". О прекращении идеологической войны с прогнившим Западом не было и речи, новое генеральное наступление на этом фронте только начиналось, но в железном занавесе появились первые трещины: впервые за много лет стало возможным познакомиться кое с чем из современного зарубежного искусства, самостоятельно делать открытия, выбирать и учиться.

На фоне этих перемен симфонии Шостаковича выделялись и слушались по-иному. Немая многозначительность, жесткая замкнутость их концепции выглядели теперь слишком умозрительными. К концу 50-х годов почти все его многочисленные последователи и подражатели избрали иные направления. Шостакович, должно быть, и сам испытывал потребность в более прямом и непосредственном выражении своих взглядов и позиций. Ему всего пятьдесят пять лет, однако увидеть новую цель, найти себя в новых условиях ему не удастся. Последние два десятилетия его творчества — свидетельство растерянности.

Готовый поверить, что "оттепель" предвещает весну, он сбрасывает латы симфонических обобщений. Он хочет быть более конкретным, называть вещи их собственными именами, оставить иносказания. Публицистическое слово делается его главным оружием; прежний Шостакович — сатирик, памфлетист, трибун — возрождается, чтобы снова обличать уродства и несправедливости.

Это стремление осуществилось в Тринадцатой симфонии (1962), посвященной, как определил сам композитор, проблеме гражданской нравственности. Слова, отвечавшие его собственным мыслям, он нашел в стихах молодого Евтушенко. Это стихи о позоре антисемитизма, о юморе — непобедимом враге деспотов, о жертвенности русских женщин, о ничтожестве карьеризма и торжестве бескорыстного служения истине, об избавлении от страха; последнее звучит прямой декларацией — это стихотворение, единственное в цикле, было написано по просьбе композитора для включения в симфонию:

Умирают в России страхи,
Словно призраки прошлых лет...
Я их помню во власти и силе
При дворе торжествующей лжи.
Страхи всюду, как тени скользили...
Где молчать бы, кричать приучали,
И молчать, где бы надо кричать...
Тайный страх перед чьим-то доносом,
Тайный страх перед стуком в дверь...

Страхи новые вижу, светлея,
Страх неискренним быть со страной,
Страх неправдой унижить идеи,
Что являются правдой самой.
И когда я пишу эти строки
И порою невольно спешу,
Я пишу их в единственном страхе,
Что не в полную силу пишу.

Совместная рыцарственная декларация была и в самом деле слишком поспешной, а ее оптимизм — преждевременным. Ложь и страхи и не думали умирать в России; по-прежнему "над Бабьим Яром памятников нет"; карьеристы и демагоги благоденствуют, авторам смелого заявления приходится тщательно выбирать выражения, прибегать к умолчаниям и пользоваться хорошо усвоенным эзоповым языком. Даже на разминированной территории передвигаться приходилось с осторожностью. И хотя музыкально-

поэтическая декларация была точно настроена в унисон хрущевским разоблачениям и резолюциям XX и XXII съездов партии, она все-таки оказалась слишком свободомыслящей. Поэту пришлось сочинить новую, идеологически более выдержанную версию стихов, а симфония, исполненная с большими трудностями, была весьма нелюбезно встречена в печати и долго не публиковалась.

"Поэтом можешь ты не быть..." Там, где звучит проповедь гражданских добродетелей, это не так уж важно. Подобно многим читателям, Шостакович закрыл глаза на нарциссизм и очевидную фальшь стихов Евтушенко. Он подчинил им свой талант, поставил в центр, возвел на пьедестал, заключил во внушительную раму своей музыки. Он не видел в этом жертвы. Он и дальше готов служить гражданским идеалам любой ценой. Он возвращается к театру только для того, чтобы написать оперетту "Москва, Черемушки", где высмеивает бытовые неурядицы, глупцов и прохвостов. Он пишет романсы на стихи Саши Черного "Сатиры" с осторожным подзаголовком "Картинки прошлого", где издевается над многоликой пошлостью. Он выступает как музыкальный карикатурист — борец с пошлостью в журнале "Крокодил", этом символе и квинтэссенции советской пошлости, кладя на музыку документальные тексты, взятые из писем читателей в журнал. Если высокое искусство бессильно против "государственно мыслящего" обывателя с его хамством, лакейством, идиотическим энтузиазмом, что ж, тогда он будет разговаривать с противником на его же языке, смешает, как в молодости, искусство с повседневностью — будет "бить врага на его территории". Если эстетика мешает — тем хуже для эстетики.

8.

В этой одержимости было что-то болезненное, горькое, безнадежное. Так зазвучал теперь и юмор Шостаковича. Накануне своего 60-летия он написал нечто, требующее скорее психологического, чем какого-либо иного анализа. Новый опус назывался так: "Предисловие к полному собранию моих сочинений и размышление по поводу этого предисловия для баса и фортепьяно, слова и музыка Димитрия Шостаковича". Сочинение было исполнено в авторском концерте, который стоил автору сердечного приступа, и вошло в список сочинений как ор. 123. В "Предисловии" он перефразирует в первом лице пушкинскую эпиграмму "История стихотворца" ("Внимаю я привычным ухом свист, /Мараю я единым духом лист; /Потом всему терзаю свету слух; /Потом печатаюсь, и в Лету — бух!"), в "Размышлении" распространяет эту автохарактеристику на творчество "очень и очень многих композиторов" и... заканчивает полным списком своих почетных званий и титулов. Понять причину этого акта публичного самоуничужения и самоистязания так же трудно, как трудно понять, что заставило его спустя четыре года сочинить "Марш советской милиции" для конкурса Министерства внутренних дел, а потом, в качестве победителя, позировать для газетной фотографии рядом с министром Щелоковым, этим потомком шефа жандармов Бенкендорфа.

Через два года после Тринадцатой симфонии появилась вокально-симфоническая поэма "Казнь Степана Разина" — снова на тексты Евтушенко. Внешне в ней повествует о вожаке крестьянского восстания, свободолюбии и самопожертвовании. В действительности акцент смещен: народный герой гибнет под топором палача на глазах у возбужденной, злорадно любопытствующей, глумливой толпы обывателей: "Вы всегда плюете, люди, /В тех, кто хочет вам добра", — и только в последний момент

Площадь что-то поняла,
Площадь шапки сняла.

И сквозь рыла, ряшки, хари
 Целовальников, менял,
 Словно блики среди хмари,
 Стенька лица увидал.
 Были в лицах даль и высь...

Стоит все стерпеть бесслезно,
 Быть на дыбе-колесе,
 Если рано или поздно
 Прорастают лица грозно
 У безликих на лице.

Можно не сомневаться, что поэма была написана исключительно ради этих слов, важность которых композитор просил меня особенно подчеркнуть в статье к его 60-летию, — во имя надежды, что жертва не напрасна, что если не жизнью, то смертью своей герой сможет пробудить спящие души сограждан.

Этот мотив становится ключевым в последующих сочинениях, возвращается во множестве обличей, приобретает отчетливый автобиографический смысл. Создатель монументальных симфонических полотен замыкается в рамках камерности — квартетов и вокальных циклов. Мыслитель и проповедник о судьбах мира, взывавший *ut bi et obi* остается наедине со своими мыслями, позволяя нам подслушать их: это — мысли о себе и о смерти. Последние струнные квартеты, скрипичная и альтовая сонаты — музыкальный дневник последних пятнадцати лет его жизни. Его начало — своеобразная музыкальная автобиография: Восьмой квартет (1960) соткан из прямых или измененных цитат из собственных прежних сочинений, от юношеской Первой симфонии и "Катерины Измайловой" через Второе фортепианное трио и Восьмую симфонию к виолончельному концерту, "Вечной памяти" из Одиннадцатой симфонии — и заключается мелодией старой революционной песни "Замучен тяжелой неволей". Композитор оглядывается на главные вехи пройденного пути и подводит скорбный итог.

В этой и последующих камерных сочинениях можно найти множество поводов восхищаться красотой музыки, богатством притусенных красок, стройностью формы, глубиной выражения, можно проводить параллели с поздними квартетами Бетховена, — можно, если достанет сил вынести атмосферу удушья, усталой апатии, душевного оцепенения и одиночества, населенного призраками, которая господствует в этих поэмах умирания.

В таком окружении Четырнадцатая симфония предстает сгустком того, чем жил композитор в последние годы. Он уже не жил, а медленно умирал — физически, из-за тяжелой, неуклонно прогрессирующей болезни, и духовно, ибо мало что из прежнего занимало его ум. Столь изобретательный в подборе поэтических текстов, он сказал об этом в центральной части (VII, "В тюрьме Санто") словами Аполлинера: "А небо! Лучше не смотреть — /я небу здесь не рад... /День кончился. Лампа над головой /Горит, окруженная тьмой. /Все тихо. /Нас в камере только двое: /Я и рассудок мой".

Напрасно критики по инерции говорили здесь о социальном и нравственном обличении насилия. Взор Шостаковича направлен в другую сторону — к плодам этого насилия. Напрасно ссылаются на слова композитора о "Песнях и плясках смерти" Мусоргского, как прототипе симфонии: последняя нигде не соприкасается с христианскими образами на тему *memento mori*, которые захватили Мусоргского, — с символами смерти, в присутствии которых поступки и жизнь человека предстают в свете вечности и веры. Этого света нет в симфонии: здесь смерть — конец всего, бессмысленное ничто, черная, ужасом притягивающая яма небытия. Не о смерти вовсе, а о бесконечной муке умирания, вновь и вновь переживаемой вместе со всеми убиваемыми, духовно умирающими и самоубийцами, говорит этот антиреквием.

Слово и здесь стоит в центре, музыка лишь поддерживает, комментирует, углубляет его смысл и окраску. Ради слов она и написана. Искусно подобранными сюрреалистическими текстами Лорки и Аполлинера композитор говорит о себе и своей судьбе.

Жизнь мне в тягость, епископ, и проклят мой взор,
Кто взглянул на меня — свой прочел приговор...
Сердце так исстрадалось, что должна умереть я, —

говорит Лорелея перед тем, как броситься в Рейн (III, "Лорелея").

Три лилии, лилии три на могиле моей без креста...
Растет из раны одна... Другая из сердца растет моего,
что так сильно страдает на ложе червивом;
а третья корнями мне рот раздирает.
Они на могиле моей одиноко растут, и пуста
Вокруг них земля, и, как жизнь моя, проклята их красота.

(IV, "Самоубийца")

Только однажды слышится нечто похожее на решительный протестующий жест: в захлебывающейся ненавистью, вычурно грубой брани по адресу султана (VIII, "Ответ запорожских казаков константинопольскому султану"). Впрочем, вызовом была вся симфония, прозвучавшая столь резким диссонансом в 1970 году, когда страна хлопотливо праздновала 100-летие со дня рождения Ленина.

В холодном, опустошенном и беспощадном мире симфонии есть, однако, свой картерис. Он всегда был неперменным элементом драматических концепций Шостаковича. Здесь же он наполнен особым смыслом. Только в обращении к поэту (IX, "О Дельвиг, Дельвиг") и в "Смерти поэта" (X) безотрадная картина смягчается присутствием скорби, жалости и надежды. Это не то очищение страданием, преодоление трагедии, мужественное принятие судьбы, что прежде были у Шостаковича. Это — оплакивание погибшего художника, чьи устремления были так высоки и благородны. Упование на "бессмертие союза любимцев вечных муз" становится главным мотивом в финалах последних опусов Шостаковича, шифрованным в инструментальных сочинениях, иносказательным — в вокальных. Романс "Музыка" заключает блоковский цикл (1967), "Анне Ахматовой" — цветавский (1973), "Творчество", "Смерть" и "Бессмертие" — вокальную сюиту на стихи Микельанджело Буонаротти (1974).

Эта последняя зыбкая надежда на художественное бессмертие — единственное оставшееся оправдание искалеченной жизни — светится, как гаснущий костер посреди мертвых развалин. ●

10 Allegretto

Мне кажет-ся, я э-то Ан-на
Франк, про-зрач-на-я, как

Д.Шостакович. Фрагмент из XIII симфонии

О Н И

Исповедь начальника агитпропа

Книга Т. Тораньской "Они", выпущенная свободным польским издательством в 1985 г., представляет собой сборник бесед, которые журналистка провела с бывшими членами руководства Польской Народной Республики времен Берута и Гомулки. Беседы нередко переходили в острую дискуссию о прошлом и настоящем второй по значению коммунистической страны Восточной Европы. Книга рисует коллективный портрет тех, кого в тоталитарном государстве называют о н и, кто воплощает безликую мощь этого государства, по отношению к которому каждый функционер является лишь безропотным исполнителем, каждый человек — рабом.

В предыдущем номере было помещено интервью с бывшим куратором "безпеки", или УБ (польский аналог КГБ), Якубом Берманом. Продолжая публикацию избранных фрагментов из книги Тораньской, мы предлагаем вниманию читателей вторую беседу — с шефом пропаганды Стефаном Шташевским.

Уже после сдачи в набор предыдущего выпуска поступило сообщение о том, что автору книги "Они" присуждена премия польского независимого профсоюзного объединения "Солидарность" за 1985 год.

С т е ф а н Ш т а ш е в с к и й родился в 1906 г. в семье торговца. Его старший брат, коммунист, был казнен в СССР в 1937 г.; родители погибли в концлагере Трешлинка. Шташевский учился на юридическом факультете Варшавского университета, с 14 лет — участник коммунистического движения, был арестован, в конце 20-х годов провел три года в Советском Союзе, где вместе с Берутом учился в Международной высшей школе им. Ленина при Исполкоме Коминтерна. В 1934 г. повторно арестован в Польше, вновь выехал в СССР, где вскоре стал жертвой чисток. Приговорен к восьми годам лагерей, отбыл наказание на золотых приисках Колымы. В 1945 г. возвратился на родину, спустя три года стал заведующим отделом печати ЦК Польской объединенной рабочей партии, был заместителем министра сельского хозяйства, первым секретарем Варшавского воеводского комитета ПОРП, главным редактором Польского агентства печати. В 1958 г. снят с высоких партийных постов, а в 1968 вышел из партии. Пенсионер. Заявляет о своих симпатиях к Комитету защиты рабочих (КОР) и "Солидарности".

— Пан Шташевский, кто вы, собственно говоря?

— Я политик. Человек, который живет политикой и выражает себя в политике, как другие выражают себя в искусстве или в каком-нибудь ремесле.

— Были ли вы хотя бы хорошим политиком?

— Не только был, но и останусь им до конца жизни. Видите ли, политика — это способ мышления о действительности, умение (пожалуй, врожденное) анализировать собы-

тия, пытаться понять направление развития, различить силы, которые определяют именно то, а не иное направление, способность находить решения и предвидеть последствия. Для этого нужны ум, знания и политическое воображение. По-моему, это важнее, чем теоретическая подготовка. Я научился понимать, что нельзя действительность подгонять под концепции. Поэтому я не стал доктринером, не в пример другим.

— Я бы хотела прочесть одно место из книжки Генрика Фоглера "Автопортрет по памяти". Вот что он пишет о вас: "Высокий, с прямой осанкой, редкие, гладко причесанные на пробор волосы, немногословный, с как будто приклеенной к губам улыбкой, которая у подчиненных возбуждала страх. Его называли "белокурой бестией" за холодную решительность, брутальность и беспощадность, достойную какого-нибудь предводителя тевтонов..." Или вот еще одна цитата, из "Капли в потоке" Лешека Кшеменя, интересно, что вы о ней скажете: "Он... умел во-время уклониться от опасной работы и ловко взбирался по ступенькам партийной лестницы... Барский душок, презрение к простым людям, надменность... Этот сын торгаша как был, так и остался буржуем, который втерся в рабочее движение".

— Чушь! Будь я карьеристом, разве я мог бы добровольно отказаться от всего, чего я достиг. Сравните меня с другими: с Минцем или хотя бы с Замбровским. Замбровский не мог сказать себе: программа, которой я следовал, не выдержала испытание жизнью и никогда не выдержит; значит, в партии мне больше делать нечего. А я сумел перейти этот Рубикон, в один прекрасный день я сказал себе: все, я больше не коммунист.

— Когда же именно?

— Еще в 1954 году, на ноябрьском пленуме ЦК, я констатировал, что произошли события, для честного коммуниста непостижимые: мы шли в партию с целью создать самую совершенную демократию, самый справедливый строй, осуществить в полном смысле слова Великую хартию вольностей. А что получилось? Тогда я еще считал себя коммунистом, но, пожалуй, уже не был им. По крайней мере, таково было мнение партии.

— Кто такой, по-вашему, коммунист?

— Человек, безоговорочно верящий партии. Верящий без всякой критики всему, что бы партия ни провозглашала. Человек, который умеет приспособить свою мысль и свою совесть к партийной догме, который уверен, что партия не ошибается, хотя ошибается она непрерывно и на каждом новом этапе эти ошибки признает. Собственно, очередной этап и начинается с признания ошибок, с критики предыдущего этапа и обещаний никогда больше этих ошибок не повторять. Кто сумеет уладить с самим собой это противоречие, или, на марксистском языке, — диалектику непогрешимости и "погрешимости" партии, тот настоящий коммунист.

— Но вы тоже совершили неплохой курбет в 1945 году, когда отбросили прочь все выводы, основанные на вашем прежнем опыте.

— Дорогая пани, меня часто спрашивают, почему я, вернувшись с Колымы после лагерей, с золотых приисков, где мы были отрезаны от всего мира, где перед моим приездом умер от тифа Бруно Ясенский, где на наших глазах трупы складывались в штабеля, как бревна, между рядами проволочных заграждений, — целые горы обледевших трупов, — где из 24 эзков, с которыми ваш покорный слуга выехал на грузовике в тайгу из Магадана, зиму пережили двое, — почему я...

— ...продолжал делать то же, что и раньше, не так ли?

— Если вам так нравится — да, продолжал делать то же самое. Вот вам краткий, но исчерпывающий ответ: я вернулся в Польшу коммунистом. То есть человеком, которого связывает с коммунистической идеей вся его жизнь. К тому же — общность судеб, связь старых борцов... Люди, которые вместе со мной пришли в партию перед войной, не искали карьеры, высоких постов и сытой жизни. Как раз наоборот, все это: карьера и благосостояние — они принесли в жертву. Их выгоняли с работы, не давали им за-

кончить образование, они сидели в тюрьмах, отказывались от личного счастья. Вспомните, пани Тереза, что партия выступала под лозунгами социальной справедливости, — под ними подписался бы любой порядочный человек. Чтобы бороться за справедливость, во все не надо было плясать под дудку Москвы. Я понимаю, после того, что было все эти годы, вам трудно меня понять... Но я действительно возвратился из России с убеждением, что мы создаем новый мир.

— Лучший, не правда ли?

— Лучший и другой.

— Но вы-то уже успели повидать этот мир вблизи.

— Да, да, конечно... Уверю вас, эти вопросы мне уже задавали сто раз. Да, я сидел, как многие. На своей шкуре я испытал, как выколачивают признания, испытал там, в Советском Союзе, их азиатскую жестокость... Но вместо того, чтобы бежать от коммунизма, как от чумы, я вернулся в Польшу, чтобы включиться в строительство социализма.

— И тюрем.

— В какой-то мере и тюрем. Косвенно, поддерживая эту политику. Но не стоит слишком широко понимать границы ответственности, иначе придется сделать вывод, что каждый, кто так или иначе приложил руку к строительству этой Польши, отвечает за все, в том числе и за тюрьмы. А ведь таких людей было немало, десятки и сотни тысяч.

— Ограничимся десятками.

— Вы так думаете? А те круги польской интеллигенции, которые помогли властям, те — ни за что не отвечают? Вот вам пример, первый, который мне приходит в голову, но характерный: Ежи Анджеевский. Будем говорить без обиняков: этот интеллеktуал, гуманист и католик написал вполне рептильную книгу "Власть и литература". Как по-вашему: он не ведал что творил? Никто его не принуждал, не понукал, он пришел к нам добровольно. Сам, по своей воле вступил в партию. И не только вступил, но хотел играть активную роль, убеждал своих читателей, что партия права. Не знаю, как вы теперь, через много лет, читаете "Пепел и алмаз", но ведь эта повесть должна была убедить народ в справедливости нового режима. Вот я и спрашиваю вас: писатель, моралист, католик, выросший в традициях польской свободы, который в годы оккупации хоть и не воевал, но был все-таки связан с лондонским лагерем, переходит на сторону коммунизма и сжигает все мосты. Отвечает он за ошибки этой партии или нет? Не будем обманывать себя: знал, не знал... Знал! И даже знал побольше моего. Он-то ведь сталкивался со средой, где были преследуемые, а я нет. Он знал, что происходит за стенами безпеки, то есть, простите, Управления безопасности, а я — нет. Так что, дорогая пани, если вы хотите со мной обсуждать какой-то мой правильный или неправильный поступок, правильное или неправильное высказывание, то давайте считать, что все было неверно, плохо, все было ложь. Но я с этой дороги сошел. И сделал это не ради какой-то выгоды, нет, я пришел к убеждению, что не могу больше продолжать то, что делал. Если хотите знать, мой разговор с вами — это беседа с самим собой, от острых вопросов я склоняться не собираюсь. Надо, наконец, ответить самому себе на все эти вопросы.

— Свести счеты с совестью?

— Дорогая, вы никогда не были у власти, а жаль. Это не так, что вот приходит какой-то определенный момент, человек задумывается и производит расчет со своей совестью. Нет, он делает это всегда. Меня это завело далеко: я пересмотрел самые основы своего прежнего мышления. И перестал быть коммунистом.

— Поставим вопрос иначе: что у вас на совести?

— Моя деятельность на более или менее ответственных постах, мое участие в принятии решений. Верная служба партии — правда, такой партии, которая не провозглашала, что она будет вести процессы на основе ложных признаний и осуждать невинных. Не провозглашала власти тайной полиции над государством, нет. Но служба партии, которая стремится к народной демократии. Ведь не будете же вы отрицать, что не один я

заблуждался. Все клюнули на приманку народной демократии. В том числе сознательная часть народа, которая отдавала себе отчет в том, что страна переходит из одной оккупации в другую. Однако она не приравнивала советскую оккупацию к гитлеровской. Было создано польское правительство, армия, школы, учреждения. Не так уж трудно было склонить народ на сторону новой власти, конечно, с известными усилиями и при помощи гибкой тактики...

— То есть обманом.

— Ну да... в какой-то мере. Но и те, кто видел эту политику насквозь, должны были признать, что новое польское правительство все-таки лучше гитлеровской оккупации, что оно представляет некую национальную позицию.

— Выходит, приходилось выбирать из двух зол меньшее?

— Дело шло о новой возможности. К сожалению, общество не понимало, что вариант этот фатален. Какие еще грехи за мной? Я участвовал в подавлении оппозиции, Крестьянской и Социалистической партий. Это, конечно, была роковая ошибка и вообще — мерзкая страница в нашей истории.

— Мне бы хотелось, пан Сташевский, — раз уж вы согласились обсуждать самые скользкие вопросы, — напомнить вам, что вы говорили на пленуме ЦК ПОРП в 1949 году. "Я думаю, — заявили вы, — есть предел, где кончается недостаток бдительности и начинается смычка с классовым врагом. Мое впечатление, что у этого предела оказались наши правонационалистические уклонисты во главе с товарищем Гомулкой".

— Хотя это и не оправдание, но другие говорили то же самое. Но, во-первых, я был убежден, что Гомулка на самом деле представляет правонационалистический уклон. Во-вторых, он не был мне ни другом, ни союзником. Я не обязан был его поддерживать.

— Значит, надо было его добивать?

— Это не было добивание. Это была честная дискуссия.

— А помните ли вы, чем кончилась такая честная дискуссия для Бухарина, Зиновьева и Каменева?

— Помню лучше, чем вы. Я был гостем XV съезда в 1927 г. и могу вам, если хотите, рассказать, как это выглядело. Помню Сталина. Твердый, непробиваемый коммунист, плохой оратор. Выступает с примитивными, но очень старательно подготовленными тезисами. Разворачивает картонную папку, объявляет: часть первая — международное положение. Потом следующая папка и так далее. Иногда он спорил с противниками, но чаще просто утверждал: "Очевидно, что..." Для него все было очевидно. Тогда на съезде я увидел, каков он на самом деле... Представьте себе: порывистый Троцкий, виртуоз ораторского искусства, блестящий Бухарин — и Сталин, малорослый, рябой, в длинных сапогах и зеленом френче. Идет острая дискуссия. Вдруг Сталин обвиняет Каменева по старому делу, решенному еще при жизни Ленина. Каменев выкрикнул из зала: "Врешь!" А Сталин ему отвечает с сильным акцентом: "Молчи, а то хуже будет". От этой фразы на всех повеяло ужасом. Характерный, я бы сказал, эпизод. Но я вижу, что я напрасно выхаркиваю свои легкие. Вы все равно ничего не понимаете.

— Кое-что, может быть, и понимаю... Скажите, пан Сташевский, подтверждаете ли вы, что были одним из тех, кто насаждал в Польше сталинский террор?

— Решительно отрицаю! Террор начался, как только нога солдата Красной Армии ступила на нашу землю, то есть тогда, когда были уже определены границы советской империи, в сорок четвертом году. Тогда же сложилась и вся структура УБ, кроме Десятого отдела (по борьбе с внутрипартийными врагами), который был создан позже.

— Но, кажется, видимость демократии еще сохранялась: Миколайчик, Крестьянская партия, социалисты...

— Когда бойцов Армии Крайовой убивали в подвалах УБ, никакой видимости не соблюдалось. Что я хочу сказать: я решительно возражаю против утверждений, будто террор в Польше расцвел лишь после 1950 года, а раньше была хоть и не идиллия, но по

крайней мере нормальная политическая дискуссия, а то, что боролись с подпольем, ну что ж, это бандиты, иначе с ними невозможно. Я возражаю против этого. Террор был уже тогда. Не кто иной, как Гомулка отвечает за уничтожение социалистов и АК.

— А вы отвечали за пропаганду.

— Что значит — отвечал? Был руководителем отдела печати.

— Разве этого мало? Что же вы делали?

— Лучше вспомним, чего я не делал. Социалистический реализм, например, придумал не я. Да и вообще никто в Польше. Это был элемент идеологической политики для всего соцлагеря, и ставить его под сомнение было нельзя. Вся эта борьба с формализмом, с декадентством, с враждебными влияниями в литературе и искусстве была общей политикой. Уверяю вас, я делал, что мог, чтобы ее ограничить. Конечно, я не был оппозиционером, но особой инициативы тоже старался не проявлять. Видите ли, пани Тереза, если мы так легко избавились от соцреализма, то не только потому, что он противоречит традициям польской культуры, но и потому, что мы не слишком старались его внедрять. Где удавалось увильнуть, увильвали. Прежде всего — от значительной части хлама советской соцреалистической литературы. Старались издавать его поменьше. Зато выпустили много произведений русских классиков. В какой-то мере и это было прислужничеством, но я считаю, что польской культуре это принесло пользу. Если изданы полностью Толстой и Достоевский...

— Не полностью.

— Да, но... Откровенно говоря, большим успехом эта литература все равно не пользовалась. Вы же знаете: в Польше достаточно написать "перевод с русского", и уже никто не хочет читать. Мы издали также всю польскую классику — Мицкевича, Словацкого...

— Но религиозные произведения Словацкого и Мицкевича не издали. Сенкевича — "Огнем и мечом", "Пан Володыевский" — тоже не издали.

— Ладно, зато напечатали почти всего Жеромского. Кроме двух-трех рассказов. Говорили о том, чтобы издать и их, но дело уперлось в Политбюро.

— Политбюро решало вопрос о рассказах Жеромского?

— Разумеется, а что тут такого?

— Каковы были ваши взаимоотношения с советским посольством, пан Сташевский?

— Визиты вежливости, больше ничего. Чаще приходилось встречаться с корреспондентами. Однажды приехал главный редактор газеты Коминформа "За прочный мир, за народную демократию" и пожелал со мной побеседовать. В какой-то момент беседа приняла странный и даже жутковатый характер. Редактор спросил, как мы собираемся поступить с кулаками в период коллективизации. "Не понимаю, — сказал я, — какой коллективизации?" — "Но ведь рано или поздно вам придется проводить у себя коллективизацию, возникнет вопрос о кулаках, что вы с ними сделаете?" — "Знаете, товарищ, — говорю я, — у нас над этим еще никто не задумывался". Он рассердился и стал мне объяснять, что в Польше количество земли ограничено. Потом спросил: "Сколько у вас крестьянских хозяйств?" — "Около четырех миллионов", — сказал я. "Вот видите. Значит, у вас 400 тысяч кулацких хозяйств". — "Не понимаю, — сказал я, — откуда такой расчет?" А он на это: "Мы исходили из того, что 10% крестьянских хозяйств — кулацкие, значит, и у вас примерно столько же. То есть примерно полмиллиона человек понадобится арестовать или выслать. Куда же вы собираетесь их выселить?" Я ответил ему, что у нас такой проблемы нет. Во-первых, мы еще не знаем, сколько у нас кулацких хозяйств, во-вторых, понятие кулачества у нас совсем другое, и в третьих, в Польше невозможно арестовать и сослать полмиллиона человек. Редактор после этого пожаловался на меня в Политбюро.

— Не потому ли вы перестали работать начальником отдела печати в январе 1954 г.?

— Нет. Меня сняли по указанию из Москвы. Посол Попов потребовал ухода Сташевского, Старевича, Касмана и еще двоих. Они вернулись на старый антисемитский курс, а мы все были евреями. Берут мне сказал: "Сожалеем, но это не наше решение".

— Он действительно сожалел?

— Думаю, что да. Мы были знакомы еще с тридцатых годов. Когда мы встретились после войны, я рассказал ему о своей судьбе и о судьбе его друзей, ничего не скрывая, о том, как они были убиты в России. Он особенно интересовался Варским. Мой рассказ произвел на него глубокое впечатление, ведь Сталин и Берия утверждали, что люди эти просто затерялись в огромной стране и их невозможно разыскать.

— Это изменило его отношение к Сталину?

— Чье отношение, Берута? Да что вы! Он ограничился замечанием, что это большая трагедия, но, может быть, кто-то еще жив. Поэтому он будет продолжать розыски, будет просить об освобождении. Я знаю, что он на эту тему говорил со Сталиным много раз. Обычно при этом присутствовал Берия. Берут осторожно спрашивал, что слышно насчет пропавших польских коммунистов. Сталин поворачивался к Берии: "Лаврентий Павлович, где же они, я же велел вам поискать". Каждый раз одна и та же комедия. Однажды, это было в конце сорок девятого или в самом начале пятидесятого года, Берут вернулся из Москвы до такой степени расстроенный, что не выдержал и рассказал, что там произошло. Он был у Сталина, задал свой обычный вопрос о пропавших. Сталин повторил свой цирк с Берией. После чего Берия вышел от Сталина вместе с Берутом и говорит ему (простите, пани, за мужской, жесткий, партийный язык): "Чего вы при...сь к Иосифу Виссарионовичу, от...сь вы от него. Я вам по-хорошему говорю". Берут понял, что это последнее предупреждение, и перестал напоминать Сталину о друзьях.

— Испугался?

— Не знаю. Но года через два-три он уже наверняка боялся. Русские решили, что пора в Польше строить тюрьмы, в том числе было постановлено возвести отдельный корпус для членов партийного руководства. Был уже проект, Метковский из УБ этим занимался. Русские придумали, а строить должны были поляки, для самих себя. Не сомневаюсь, что Берут понимал ужас создавшегося положения. Скажу вам: раньше он никогда не пил, до войны был даже активистом общества трезвости. А теперь начал пить. Раза два я видел его сильно под градусом. Как-то на приеме он обходил гостей с советским послем. Подходит к нашему столику и говорит: "Товарищ Сташевский, представьтесь нашему послу". Я ответил, что сегодня мы уже встречались. "Ничего, можно и еще раз, лишний разок поклониться нашему послу не мешает!"

— Итак, в 54 году вас сняли с должности начальника отдела печати и бросили на сельское хозяйство. Как вы там управлялись?

— Да как вам сказать... Я горожанин. Жена учила меня отличать рожь от пшеницы.

— Но вы и там прославились.

— Что было, то было. Но я должен сказать, что организация обязательных поставок не была связана с должностью замминистра сельского хозяйства.

— С должностью, может быть, и нет, зато с вами лично — да!

— Откуда вы это взяли?

— Об этом пишет Ежи Путрамент.

— Болван, и вдобавок лгун.

— Сколько же вы народу пересажали, пан Сташевский?

— Проще пани!

— Я спрашиваю, сколько вы посадили людей той осенью, в пятьдесят четвертом году?

— Золотко мое, ни одного.

— Путрамент утверждает, что десятки тысяч.

— Ну этим во всяком случае занимался не я. Это безпека. Я же отправился на заготовки всего лишь в качестве уполномоченного ЦК. Сами знаете, зерна не хватало. Вот и нужно было заставить крестьян отдать хлеб, чтобы народ не голодал. По крайней мере так нам говорили!

– Не кто-то "говорил", а вы сами говорили!

– Партия говорит, милая барышня. А я лишь повторял. Решение было принято, огромный аппарат задействован. Он состоял из уполномоченных ЦК, министерства заготовок и, само собой, Управления безопасности. Если крестьянин не выполнял плана поставок, он попадал в руки прокуратуры и УБ. Сначала его вызывали на беседы, снова и снова, потом следовал арест. Обычно держали от двух дней до двух недель и конфисковывали имущество.

– Сколько же было арестовано?

– Точно не помню, что-то около восьми тысяч.

– Как уполномоченный ЦК вы знали обо всем?

– Что вы ко мне пристали? Ну, знал.

– И что же?

– Ничего. Говоря по правде, я считал это правильным. Это соответствовало принципам нашей политики. Впрочем, это не было нашим изобретением. Система насильственного изъятия хлеба у крестьян применялась во всех странах народной демократии, и вы догадаетесь, откуда она была позаимствована.

– Однажды пленум ЦК обсуждал издевательства над крестьянами в селе Грыфице...

– Да, там было откровенное насилие. Били, пытали, все было. Выставляли людей на публичное осмеяние, сажали на бочку.

– Как это на бочку?

– Да так. Посреди села сажают человека верхом на бочку, сгоняют всех крестьян глядеть, и вот они смотрят, как их сосед сидит так несколько часов подряд. История в Грыфице получила огласку, дошло до скандала. Берут гремел с трибуны, Политбюро приняло специальное постановление. Но сама по себе система обязательных поставок осталась без изменений. Через год я пришел к выводу об ошибочности нашей политики в сельском хозяйстве. Я говорил министру, что коллективизацию мы можем провести только через гражданскую войну. И даже если мы выиграем эту войну, государство обанкротится, субсидируя кооперативы. Даже те, которые уже были созданы, поглощали невероятные суммы.

– Гомулка говорил это еще в 1948 году.

– Говорил, а что толку? Давали землю и заверяли: живите спокойно, колхозов не будет. Но в какой-то момент Сталин решил: поговорили и хватит, будем теперь действовать по-другому.

– Оставим в покое Сталина, не он отвечал за коллективизацию польского села.

– Все отвечали.

– Все, значит, никто.

– Короче говоря, я собрал все данные и направил в Политбюро меморандум о том, что я думаю о нашей аграрной политике. Замбровский сказал мне: "Берут взбесится, но тебе терять нечего. Ты все равно на этом посту не работник". И действительно, послал я эту записку, и меня без звука освободили от должности.

– Значит, тактический успех.

– Да, но риск выпасть из "обоймы" был тоже немалый.

– Я не совсем понимаю, пан Сташевский. Сначала вы ретиво организуете заготовки хлеба, доказываете всем, что так надо, а потом вдруг поворот на сто восемьдесят градусов.

– А может быть, у меня начали открываться глаза?

– Плохо верится, если учесть, что после этого вы получили новый пост, не хуже прежнего.

– Ну, это было не сразу. Но прежде я успел познакомиться с Хрущевым. Хотите, расскажу? Он как раз тогда приехал в Варшаву убеждать нас сажать кукурузу. Это была эпоха кукурузы. Созвали заседание Политбюро, и он выступил с идеей пересмотра наших хозяйственных планов. Предлагалось выделить два миллиона гектаров земли под

кукурузу. Всех нас охватило даже не уныние, а просто отчаяние. Потом созвали хозяйственное совещание в ЦК, пригласили человек двести. После доклада Хрущева началась дискуссия. И наступила катастрофа. Все встали на дыбы. Помню выступление члена ЦК профессора Лекчицкой из Института растениеводства. Она сказала, что ее удивляет, как такой план вообще можно выдвигать в Польше. "Если кто-то думает, что наши агрономы и ученые — невежды и дураки, — сказала она, — то смею заверить: это не так". Я сидел рядом с Хрущевым и переводил. Он был вне себя, наконец, не выдержал, и забыв, кто я, рявкнул: "Слыхал? Эти поляки, думают, что они лучше нас все знают!"

— Что же решили?

— Ну, вставили в план для видимости полмиллиона гектаров, сто тысяч засеяли. Берут не хотел конфликтов из-за чепухи. Да и вообще преко словить было нельзя: чуть что — сразу политические выводы. Впрочем, и сейчас все то же самое... В 1956 году Хрущев, желая показать, насколько он гуманнее Сталина, рассказывал нам такой случай: "Я при Сталине был секретарем Московского обкома, и был у меня главный агроном. Как-то мы поспорили, и тут он мне заявляет, что я ничего не понимаю в сельском хозяйстве. Я делаю вид, что не слышу. Ведь я с ним мог сделать все, мог его уничтожить. Но он не понимает. Наконец, я говорю: "Вон из Москвы, чтоб духу твоего тут не было!" Ну и поехал он в Сибирь, только и делов".

— В пятьдесят пятом году, если не ошибаюсь, вас назначили первым секретарем Варшавского горкома, а вскоре наступили ваши великие дни, говорят, единственная светлая полоса во всей вашей карьере. Но сначала был XX съезд КПСС...

— Да, сначала XX съезд. Не помню, то ли во время съезда, то ли чуть позже Берут заболел воспалением легких. Не дожидаясь его выздоровления, мы созвали совещание по итогам съезда. Слухи о нем уже ходили в Польше. Это был прекрасный повод поговорить о сталинизме в нашей стране. Страсти разгорелись, началась атака на Берута и на все руководство...

— Председательствовал Берман?

— В первый день, кажется. Стенограммы совещания ежедневно отправлялись в Москву Беруту, он лежал там в больнице... Потом, на похоронах Берута (он умер в марте, через две недели после съезда), я сказал Хрущеву, что мы считали покойного ответственным за то, что происходило у нас. Хрущев мне ответил буквально следующее: "У нас насчет Берута был полный культ личности, мы к нему имели полное доверие... Скажу вам еще, — добавил он, — это вы доконали товарища Берута". Я удивился, а Хрущев рассказал, что они оба лежали больные и ежедневно перезванивались. Берута, по словам Хрущева, особенно задело мое выступление на совещании в Варшаве.

— И что же?

— Он уже выздоравливал, и вдруг инфаркт.

— Ну да, вы, конечно, выступали острее других... А как себя чувствовал Берман?

— Через несколько дней после кончины Берута он пригласил меня к себе: он еще сидел в Политбюро. Я выложил ему все начистоту. Берман захлебывался в рыданиях, я первый раз видел его таким. Он повторял: "Я ходил с петлей на шее, я знал, что рано или поздно пойду на виселицу". Мне было не по себе. Я прервал его, сказав, что над всеми нами висела угроза, но это еще не причина посылать на смерть невинных людей. И на этом наш разговор окончился.

— Недурно. Сначала покончили с Берутом, потом с Берманом.

— Да. Началась борьба за место первого секретаря. Шестой пленум ЦК ПОРП открылся 20 марта пятьдесят шестого года; выступил Хрущев. Он кратко пересказал свой доклад на XX съезде, кое-что добавил, например, сообщил о том, что Сталин прикончил своего шурина; рассказал, как погибла жена Сталина. Обстоятельства смерти Надежды Аллилуевой мне были более или менее известны, но об убийстве шурина, с подробностями в восточном вкусе я впервые узнал от Хрущева. После его речи объяви-

ли перерыв, ожидая, что он воспользуется перерывом, чтобы распрощаться и уехать. Но он решил остаться, перерыв затянулся, и мы попросили Хрущева побеседовать с нами за чашкой чая. Я спросил его, правда ли, что смерть Сталина прервала подготовку к новой большой чистке. Хрущев отвечал: "Да, охотно вам расскажу. Мы чувствовали, что мы сами под угрозой. Процесс кремлевских врачей был провокацией Сталина... Смерть Кирова тоже была провокацией, но всех деталей мы еще не знаем. Вдобавок Сталин не любил евреев". Тут я прервал Хрущева и сказал: мы знаем, что Сталин был антисемит. "Не так это просто, дорогие мои, — возразил Хрущев. И начал объяснять. — Сталин был великим революционером и выдающимся марксистом. Все, что он предпринимал, делалось с одной мыслью: пойдет это на пользу мировой революции или нет. И вот представьте себе. После войны выселили из Крыма татар, не будем объяснять почему и за что. Крым опустел, и тогда пришли к Сталину товарищи из Еврейского антифашистского комитета, созданного во время войны. Илья Эренбург, Лозовский — тогдашний генеральный секретарь Профинтерна — и выдающийся еврейский актер Михоэлс. Они предлагали поселить в Крыму евреев Украины и Белоруссии, уцелевших к концу войны. Сталин рассудил так: члены комитета представляют евреев, а у каждого еврея — дело известное — есть какая-нибудь зацепка в капиталистическом мире: у кого бабушка за границей, у кого тетушка. Вот Сталин и подумал: международное положение ухудшается, империалисты обдумывают, как им напасть на Советский Союз, а эти евреи хотят обосноваться в Крыму. Вы понимаете, — объяснял нам Хрущев, — что такое Крым? Тут под носом Баку, нефть. Значит, евреи через свои связи создают агентуру, и Крым будет плацдармом для американского десанта. Чем все это кончилось, вы знаете".

Надо сказать, что я во время этого разговора проявил некоторую бестактность. Я спросил: "Никита Сергеевич, и что же вы тогда решили?" Хрущев нахмурился и сказал: "Счастье, что он умер. Мы сразу же на первом заседании Политбюро решили пересмотреть дело врачей". Об одном, правда, Хрущев умолчал: предложение выпустить арестованных врачей внес не кто иной, как Берия. Он быстро сообразил, что дело запахло керосином. Тогда же, во время этого разговора с Хрущевым, зашла речь о "национальной политике". Хрущев заговорил о ней так, что мы чуть со стульев не попадали. Минц стоял за моей спиной и шептал: "Перестань с ним разговаривать, ради Бога, он сам не знает, что говорит!". Но я все же спросил у Хрущева: "Это верно, что вы применяете в университетах *numerus clausus*, по-русски — процентную норму?" Тогда Хрущев спрашивает: "Скажите, пожалуйста, товарищ Сташевский, сколько у вас евреев?" — "Не знаю", — говорю я. — "Плохо, товарищ Сташевский. Надо бы знать. У нас, в Советском Союзе, лиц еврейской национальности два процента. Значит, и в университетах, и в министерствах, и где там еще, должно быть везде два процента. Не думайте, пожалуйста, что мы против евреев. Но надо знать пределы".

— Перейдем к осени 1956 года. Ваш звездный час продолжался. По Варшаве даже пополз слух, что вы раздаете населению оружие...

— Ну что ж, раз вам и это известно, могу сказать, что да, мы получили из воеводского УБ 800 единиц ручного огнестрельного оружия, несколько пулеметов и ручные гранаты для рабочей милиции, которая была организована на автозаводе. Рабочие должны были защищать Варшаву от польских войск, которые генерал Гуца вел на город из приморского военного округа. С другой стороны на Варшаву двигались советские войска, но они были еще далеко. Рабочая милиция вышла навстречу отрядам Гуци с заданием политически разложить эти части. Рабочие вошли в ряды войск, начали агитировать, и войска действительно остановились.

— Ого! А какой сценарий был у русских?

— Точно не знаю. Знаю только, что готовилась интервенция. В канун восьмого пленума мы уже знали об этом точно. Русский командующий Варшавским военным округом генерал Андриевский созвал совещание командиров частей города и окрестностей. От двух офицеров мы узнали, что на совещании планируется государственный перево-

рот и составляется план арестов. Я тут же позвонил Охабу, тот связался с Гомулкой, и в полдень состоялось наше совещание: Охаб, Гомулка, министр обороны Польши Рокоссовский и я. Охаб объявил, что у Сташевского имеется важная информация: в Цитадели Андриевский проводит совещание и отдает странные распоряжения. Что известно об этом Рокоссовскому? Рокоссовский ответил, что он ничего не знает. Охаб повернулся ко мне: может быть, сведения ложные, товарищ Рокоссовский должен был бы знать. Но я стоял на своем. Тут Рокоссовский покраснел и сказал, что ему в самом деле ничего не известно, но вообще-то время такое, что неудивительно, если командир, ответственный за поддержание порядка в Варшаве, собирает своих офицеров... Охаб сказал: все ясно, не будем выяснять дальше, прошу товарища маршала эти приказы отменить. На этом наше совещание закрылось.

— Что же вам стало ясно?

— А то, что товарищ маршал Рокоссовский никаких приказов отменить не сможет: не он их отдавал. На другой день прибыл Хрущев со свитой, советский флот стал на рейде Гданьска, войска в Польше и у границ двинулись на Варшаву. События развивались стремительно: переговоры с Хрущевым, пленум ЦК, митинг на площади Парадов, заседание в Зале конгрессов... Я довольно быстро понял, что наше дело проиграно. На заседании воеводский комитет был обвинен в деятельности, угадайте, какой?

— Контрреволюционной?

— Нет, для начала экстремистской: таковы правила игры. Я встретился с Гомулкой и сказал ему, что варшавская организация и общественность подготовили Октябрь не только для того, чтобы товарищ Веслав, то есть Гомулка, встал во главе партии, а ради выполнения наших требований. Мы добивались рабочих советов, выбираемых на свободных выборах, создания государственного и Конституционного судов, соглашения с церковью и роспуска "Пакс" — католической организации, которую партия создала для подрыва церкви. Гомулка на все ответил отрицательно.

— Но вы ведь тоже не были новичком в политических играх?

— Гомулку обожали. Сказать что-либо плохое о Гомулке было опасно. Общество дало ему кредит, в сущности неограниченный. Ему верили, на него возлагались невероятные надежды.

— Если не ошибаюсь, пан Сташевский, в январе 57 года вас выгнали из Политбюро. Расскажите, как это было.

— Очень просто. На заседании никто не взял слова, все сидели и смотрели в стол. Я довольно долго пикировался с Гомулкой. Наконец, он сказал: "Нам не остается ничего другого, как принять предложение об отставке товарища Сташевского". Все молчали, Гомулка добавил: "Принято единогласно", — и объявил перекур... Тут ко мне подошел Охаб и шепнул мне по-русски: "Держись, солдат!" Меня это, знаете, взорвало, и я его чуть не послал, тоже по-русски. "Эдек, — сказал я громко, чтобы Гомулка слышал, — ты что это говоришь? Запомни крепко, я вам больше не солдат, а по-дружески могу тебе одно сказать: он вас всех перестреляет, как уток, по одному. Салют". Прихожу домой и говорю жене: "Можешь со мной разводиться. Дела пошли такие, что хуже некуда".

— По-моему, вы преувеличиваете. Вам не так уж плохо живется. Пятикомнатная квартира, антикварная мебель. Вы у себя собираете отборное общество... Ладно. Итак, вы ушли в оппозицию.

— Не совсем. Я занял пост главного редактора Польского агентства печати (ПАП). Ненадолго, потому что сразу совершил роковую ошибку. Выехав за границу на выезд корпунктов ПАП, я узнал то, о чем раньше не догадывался: наши корреспонденты вместо обслуживания агентства выполняют задания другого ведомства. Когда я хотел вернуть домой одного такого корреспондента в Лондоне, он меня спросил: "Товарищ, а вы это согласовали?" Я спрашиваю: "А с кем, собственно, надо согласовывать?" Он

замаялся, а потом сказал буквально следующее: "Может быть, журналист я и говенный, но зато я верный человек". Вот так, просто и откровенно объяснил он кадровую политику партии: не нужно быть способным, не нужно быть компетентным, надо быть преданным. Так что и в Польском агентстве я долго не задержался: летом 58 года мне сообщили, что решением Политбюро я отставлен. Один мой старый друг предложил мне место редактора Польской энциклопедии. Я согласился...

— И для вас настали спокойные времена?

— Да, до поры до времени. Пока не началась волна мочаровского шовинизма. А возникла она как реакция на разочарование режимом Гомулки. Люди поняли, что обещания, данные им в октябре 1956 г., он выполнять не собирается, реформы, демократизация, участие общества в управлении страной — ничего этого не будет.

— Вы считаете, что Гомулка не мог выполнить эту программу? Или не хотел?

— Конечно, не хотел. Понятие демократизации не вмещается в коммунистическую идеологию, а Гомулка был и остался истым коммунистом. Не хочу превращать его в злодея, но я убежден, что именно Гомулка был вдохновителем дел, которые в конце концов довели Польшу до нынешнего краха. Я его никогда не любил, и мне трудно быть объективным. Но я должен сказать, что при всех своих отрицательных чертах, он не был циником. Политикой он занимался со страстью и не был из тех, кто дешево продает свои убеждения. Других людей он ставил низко, ломал их, его понимание отношений между людьми и отношений в обществе было весьма примитивным. В 65 году произошел забавный случай. Среди студентов распространили анкету, где был вопрос: "Твой любимый герой?". Результаты опроса были опубликованы и оказались скандальными: не было названо ни одного коммунистического деятеля, ни живого, ни мертвого. Гомулка вызвал социолога профессора Шаффа и сказал ему: "Какого хрена вы устраиваете эти опросы, что вы хотите узнать? Что молодежь нас не любит? Это мы и так знаем". Его путь и концепция были доктринерско-коммунистическими, а в глазах среднего поляка это противоречило интересам страны и народа. Его эволюция от момента прихода к власти до падения — это движение от оппозиции тому, что мы называем сталинским периодом, навстречу коммунистическо-фашистской доктрине, то есть в направлении, наиболее подходящем для наших соседей...

— Не боялся ли Гомулка, что власть захватит Мочар?

— Может быть, и боялся. Но, с другой стороны, Мочар был ему нужен. Помните в 66 году, когда отмечалось тысячелетие польской церкви, кампанию клеветы, развернутую против католичества? Или 68 год, когда врагом № 1 оказалась студенческая молодежь? Тогда была проведена атака на редколлегия Большую польской энциклопедии, где, между прочим, работало несколько бывших ревизионистов и евреев.

— В прошлом — видных деятелей.

— Да. Предлогом послужила статья в восьмом томе о концлагерях. Там было сказано, что в Освенциме погибло столько-то евреев, столько-то поляков, русских, цыган, а всего на территории Польши в лагерях смерти погибло четыре миллиона евреев. Для группы Мочара эта цифра была чуть ли не вызовом польскому народу. Кстати, статью подписал в печать член редакционного совета БПЭ, некто Генрик Яблоньский, тогдашний министр просвещения и председатель Исторической комиссии мочаровского Союза ветеранов. Когда я ему об этом напомнил, он побледнел... Вот тогда им и понадобился Сташевский — еврей, ревизионист, да еще связанный с другими скомпрометированными личностями. Им понадобился Замбровский, у которого сын был связан с оппозиционным движением молодой интеллигенции. Как удобно было соединить два этих имени: оба — члены партии, в прошлом сыграли какую-то роль, а потом скурвились, перестали слушаться Гомулку. Я — раньше, Замбровский чуть позже, когда он выступил с критикой хозяйственной политики. А я, надо сказать, вообще не скрывал своего отношения к Мочару и его фашистско-обскурантистскому окружению. Я вам скажу, что для Гомул-

ки вопрос был в конце концов не в нескольких евреях, которых и так уже давно отстранили, и не в двух-трех членах руководства, которые воспротивились юдофобской кампании и ушли сами, таких, например, как Рапацкий и Охаб. А весь вопрос был в том, чтобы устроить общественность, усилить репрессии. Значит, нужен был повод... Надо было привлечь на свою сторону темные шовинистические элементы. Кто был с Мочаром, получал привилегии. Далее, нужно было как-то объяснить провалы в экономике. Евреи тут, как всегда, оказались очень кстати. Что же случилось? Они изгнали из страны остатки польского еврейства, и теперь больше не на кого свалить вину. А как здорово бы звучало — "Солидарность", которой руководят евреи. Нет больше евреев! Остались какие-то непонятные экстремисты. Это уже совсем не то.

— Пан Сташевский, очень интересно все, что вы рассказываете. Но...

— Что "но"?

— Людей сажают, выбрасывают из университетов, берут в армию. Тысячи были вынуждены эмигрировать. А вы? С вами вроде бы ничего не случилось!

— Как видите. А вам хотелось бы, чтобы меня арестовали?

— Вас даже не допрашивали.

— Верно. Правда, вызвали однажды в качестве свидетеля... Но это кончилось плохо для допрашивающих. Больше они меня не вызывали.

— До 82 года?

— Да. Тогда у меня дважды был обыск. И несколько вызовов на Раковецкую, в министерство внутренних дел.

— Я об этом слыхала. Об этом говорят в варшавских кафе... И все-таки даже сейчас, после нашего знакомства, после этого разговора, я задаю себе все тот же вопрос: кто вы, пан Сташевский? ●

Марк ПОПОВСКИЙ (Нью-Йорк)

КОЕ-ЧТО О КНИГАХ

По ту сторону ностальгии

Вот уже восемь лет я живу в Америке. Из Москвы, Ленинграда, Киева пишут мне старые друзья, знакомые, читатели. Все они — любители книг, и в каждом почти письме я нахожу сообщение о книжных новинках. И одновременно жалобы на то, что купить хорошую книгу в магазине почти невозможно. "Меня ужасно интересуют "Мифы народов мира" в двух томах, — пишет инженер из Москвы. — Знаете ли вы это издание, замечательная вещь! Но где ее достать..." Научный сотрудник из Киева мечтает о недавно вышедшем в Москве томике стихов Булата Окуджавы. Художницу из Ленинграда интересует книга Вересаева "Пушкин в жизни". "Достать ее можно разве что на черном рынке за бешеные деньги, — жалуется она. — Говорят, у вас там в Америке всего этого добра навалом, наши книги продаются совершенно свободно. Так ли это? Может быть, пришлешь?"

В такой просьбе отказать людям трудно. Получив письмо, еду в очередной раз на Пятую авеню, где между 20 и 21 улицей находится магазин русской книги. Таких магазинов в нашем городе несколько, но я предпочитаю нью-йоркский филиал магазина Виктора Камкина, открытый у нас года три назад. Главный магазин этой фирмы был открыт в Вашингтоне еще в 1953 году. У наследников Камкина (он умер в 1974 году) тес-

ные связи с Советским Союзом, так что выбор советских книг, действительно, весьма богат. Огромное помещение магазина перегорожено стеллажами в половину человеческого роста. Идешь по этим коридорам, и глаза разбегаются. Тут и газеты с журналами, и художественные альбомы, самые что ни на есть дефицитные, проза переводная, проза современная отечественная, собрания сочинений классиков. Много научных книг, статистические сборники, словари, сборники пословиц и поговорок. А рядом — тонны пропагандистской макулатуры. "Тайная война против разрядки. Планы империализма". Москва 1985 г. "США — курс на военное превосходство". Москва 1985 г. "Ракеты должны служить миру". Москва 1985 г. И прочее. В Америке — свобода, продажа любого мусора не возбраняется.

Обхожу стенд с "политикой" и на соседней полке вижу томик стихов Окуджавы в коричневом переплете под кожу с золотым тиснением. А возле него сборник стихов Анны Ахматовой в изящной синей матерчатой одежке. Прекрасные подарки для московских и ленинградских почитателей поэзии. Спешу к словарям и сборникам пословиц, беру "Пословицы и поговорки русского народа" Дала. В Москве, как мне пишут, этот двухтомник — на вес золота. А вот и "Пушкин в жизни". В последний раз этот замечательный свод подлинных свидетельств современников поэта издали в СССР полвека назад. Теперь издательство "Московский рабочий" удружило читателей: хоть и на скверной бумаге, но все-таки тираж 125 тысяч. Интересно, где же он, этот тираж? Книга продается в Америке, а в России ее только по блату, да на черном рынке сыскать можно. Отчего? Ответ простой. Государственная цена "Пушкина" — трешник. Если нью-йоркскую цену книги перевести на советские бумажки, то получится рублей 25. Пусть даже половину хапнет Камкин и компания, для советского бизнеса все равно выгоднее посылать книгу Вересаева за океан, нежели торговать ею в Москве или, к примеру, в Тамбове. Тогда почему бы не напечатать 250, а не 125 тысяч экземпляров? Нет, нельзя: в стране бумаги не хватает. Что? Читатель российский обокраден? Ничего, переживет.

Стоя возле полок современной прозы, не удержался и купил толстый том в добротном малиновом переплете — "Повести и рассказы" Валентина Распутина. Издательство "Современник" на первой же странице сообщило уважаемым читателям, что том этот входит в "Сельскую библиотеку Нечерноземья", которая специально выпускается "для тружеников села Нечерноземной зоны РСФСР". Не знаю, удастся ли труженикам этой зоны приобрести книги Распутина, но я в Америке покупаю их без труда. Мне для этого никаких знакомств не нужно. Правда, вот "Мифы народов мира" достать не удалось — расхватали...

Магазином Камкина управляет ныне уроженец Польши Анатолий Забавский. Мужчина строгий, разговаривать с журналистами не любит, ведь тесные отношения дома Камкиных с советскими чиновниками не каждому в Америке по душе. Но недавно Забавский все-таки сообщил корреспонденту Рейтер, что его фирма располагает весьма значительным запасом книг на русском языке: их тут три миллиона томов. Для сравнения можно добавить, что в самом большом магазине Москвы, так называемом Доме Книги на Калининском проспекте, обычно имеется немногим больше 4 млн. томов. С гордостью приведу эти цифры, г-н Забавский все же отрицал, что магазин Камкина — предприятие советское. "Мы не являемся агентами Советского Союза, — заявил он, — это чисто американская корпорация. Мы занимаемся этим ради прибыли". Возможно; ибо среди миллионов советских изданий я обнаружил полку, уставленную книгами Солженицына, Войновича, Зиновьева, Свирского. Не без удовольствия обнаружил я на этой полке и собственные книги, изданные за рубежом. Тем не менее магазин, очевидно, не желая портить отношения с советским партнером, в последнее время перестал включать в свои каталоги книги эмигрантов.

Что касается прибыли, то ею, надо полагать, довольны обе стороны. "Международная книга", у которой американский книготорговец приобретает 95% своего товара, ежегодно получает от магазина Камкина 200 тысяч долларов. Так, по крайней мере, утверждает Забавский. О доходах своего магазина он помалкивает, однако дает понять, что недостатка в покупателях нет. В памяти компьютера, принадлежащего фирме, хранятся 18 тысяч адресов постоянных покупателей. Магазин посещают и американцы, которым по роду их дел приходится иметь дело с Россией, и университетские профессора,

и наш брат. В числе наиболее солидной публики, посещающей магазин, г-н Забавский почтительно отметил советских дипломатов и самого Добрынина, посла Советского Союза в США.

Магазин Камкина — не единственное место, где советские власти продают книжки, по сути дела отнятые у своих граждан. Я видел книги из СССР в продаже в Париже, Лондоне, Брюсселе, Мюнхене, в Западном Берлине. Самый факт торговли такого рода, разумеется, не есть зло: книги за пределами своей страны продают издатели многих стран. Только в отличие от советских учреждений они ничего не отбирают у собственных граждан. На Западе нет дефицита ни на пищу, ни на одежду, ни на книги.

Подозреваю, однако, что нужда в валюте все-таки не главная причина подобных сделок. Когда надо сбыть на Запад очередной воз партийно-пропагандистской макулатуры или книжки, восхваляющие КГБ, московские коммерсанты за ценой не стоят. Иногда они даже готовы поставить западному книготорговцу горы книг бесплатно, только бы взял. К примеру, в ежедневной газете "Новое Русское Слово" (Нью-Йорк) 2 апреля 1985 г. появилось такое объявление:

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ

Семенов Ю. С. СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. Роман. СССР. 1984 г. В романе рассказывается о подвиге советских разведчиков, о разоблачении попыток сговора нацистских главарей с наиболее агрессивной частью военно-промышленного комплекса США. Цена 3 долл. 30 центов.

Или еще — та же газета от 7 июня 1985 г.:

КНИГИ НА ВСЕ ВКУСЫ

Абрамов, Сергей. ГРАЖДАНЕ, ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! Повести. СССР. 1983 г. Повести рассказывают о работе органов безопасности и работников уголовного розыска. Твердый переплет. Цена 6 долл.

Оставим в стороне вопрос, почему "Новое Русское Слово" призывает своих читателей, эмигрантов из СССР, покупать сочинения вроде романа Юлиана Семенова, репутация которого хорошо известна. Обратим внимание на цены. Книги в США в общем-то стоят много дороже, чем в СССР. Книги, рекламируемые газетой "Новое Русское Слово", должны нормально стоить 12—15 долларов. Причина, по которой сбывают по три доллара за штуку, проста: тороватому книгопродавцу его товар достался даром.

* * *

Вот еще несколько строк из письма, присланного о т т у д а. Есть у нас друзья, которые после моего отъезда принялись искать в библиотеках мои книги. Они надеялись опередить начальство и попросту похитить обреченную книгу. Не тут-то было. "Ни в районной, ни в городской библиотеке Вас уже ни на полках, ни в каталогах нет. Изничтожили". Меня это, конечно, не удивило. Имя каждого уехавшего на Запад писателя немедленно попадает в особый список, его рассылают по библиотекам — и дело сделано. Я доставил, вероятно, начальству довольно много хлопот: пришлось изъять и вывезти на бумажную фабрику четырнадцать названий моих книг общим тиражом около миллиона экземпляров. Разумеется, наша родина в таких случаях средств не жалеет.

Первый список запрещенных книг был подписан Надеждой Константиновной Крупской еще в конце 1923 года. Живущий ныне в США доктор наук М. Софиев рассказал

мне, что в списке — он был опубликован во всех изданиях Наркомпроса, в том числе в "Вестнике Ленинградского отдела народного просвещения" за 1924 год, — числилось около 400 книг. Причем там были не только такие издания, как, например, исследования по истории дома Романовых. Крупная распорядилась изъять из библиотек и книжных магазинов религиозно-философские труды Льва Толстого, роман Достоевского "Бесы". В "индекс" были внесены произведения философов-идеалистов и даже романы Жюль Верна, якобы проповедующие колониализм.

О том, что происходило позже, при Сталине, я думаю, вспоминать незачем, это все знают, но давайте поговорим о временах оттепели. Рассказывая, как много книг западных писателей, прежде недоступных советской публике, было переведено на русский язык при Хрущеве, американский литературовед М. Фридберг назвал 1954—1964 годы "десятилетием эйфории". Допустим, что слово эйфория употреблено здесь с иронией. Но вот вполне серьезный документ той эпохи: "Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети. Издание Всесоюзной книжной палаты. Москва, 1961 г." В списке 469 страниц, одиннадцать тысяч названий.

Список, разумеется, секретный, о чем свидетельствует специальный номер в правом верхнем углу обложки. Новый правитель требовал оградить советское общество от правдивой информации, касающейся обстоятельств революции, о тогдашних деятелях, о действительном положении дел в годы гражданской войны, о хозяйственных неурядицах 20-х и 30-х гг., о голоде, терроре, об ошибках, просчетах и преступлениях, совершенных во время войны. Ради этого и был составлен список 1961 г.

Но еще обильнее перечень запрещенных писателей, в том числе, как ни странно, тех, кто был реабилитирован при Хрущеве. Приказано вышвырнуть Ивана Катаева, Бориса Пильняка, Ефима Зозулю, Евгения Замятина, Александра Исбаха, Владимира Киршона, Константина Вагинова. Не без удивления я обнаружил ранние издания Сергея Есенина, Демьяна Бедного, Александра Безыменского, Александра Жарова, Виктора Шкловского, Ильи Эренбурга. В этой же компании — Макс Волошин, Юрий Либединский, Алексей Крученых, Александр Мариенгоф и даже известный стукач-надомник Лев Никулин. Какая пестрая смесь имен! Впрочем, что уж говорить о Никулине, если в этом списке нашлось местечко для памятного всем нам акына Джамбула. И даже для самого Максима Горького. В первые годы революции основоположник советской литературы, как известно, еще имел обыкновение взбрыкивать и произносить вслух *н е с в о е в р е м е н н ы е м ы с л и* (так назывались весьма еретические заметки, которые Алексей Максимович публиковал в 1918 году), а также с неуместной искренностью рассказывать о Ленине.

Невозможно перечислить все причины и поводы, по которым даже в либеральную хрущевскую пору изымались и уничтожались книги. Хочу обратить внимание лишь на две группы запретов. Хотя Хрущев вошел в историю как разоблачитель Сталина, но судя по списку, он вовсе не склонен был полностью разрушать здание, возведенное вождем номер два. В 1961 г. изъятию подлежали все книги и брошюры, описывающие террор 1937—38 годов. ("Предателям родины — троцкистско-бухаринским шпионам нет и не будет пощады", Иваново, 1937 г.; "Право-троцкистская банда диверсантов, шпионов и убийц перед судом народа", Ленинград, 1938 г. и т. п.). В список включены также сочинения, которые в сталинскую пору нагнетали атмосферу подозрительности и доносительства (Тарадин, "Классовая борьба в медицине", Воронеж, 1932 г.; Загорский, "Классовая борьба в сибирских вузах", 1929 г.).

Другая группа книг, подлежащая изъятию при Хрущеве, касается взаимоотношений между национальностями в СССР. Национализм на Кавказе, на Украине, в Средней Азии и Прибалтике уже начал набирать силу, и вполне естественно было изъять все книги, всерьез обсуждающие национальные проблемы. Вместо них полки библиотек и магазинов заполнились изданиями, где ничего, кроме лозунга дружбы народов, напоминающего старую формулу "единая и неделимая", не осталось. Заодно было приговорено к уничтожению несколько сот названий книг о судьбе евреев в России и все издания бывшего издательства "Дер Эмес".



ПОРТ-САИД

Подлинный символ Порт-Саида — огромный пьедестал на берегу у входа в Суэцкий канал. Когда-то на этом пьедестале стояла знаменитая статуя Лессепса, создателя канала. У нее позировали британские строители империи по пути в Индию и домой. С одной стороны Лессепса начиналась Европа, с другой — Азия. Сегодня статуи нет — ее свалили при Насере, когда канал перешел в руки Египта. В те же дни, незадолго до Суэцкой войны 1956 г., изменилась судьба Порт-Саида, и его старое обличье осталось лишь воспоминанием о былом, как улыбка на лице покойного.

Порт-Саид был — как и Александрия и Исфахия, но в большей степени — европейским городом за морем, столицей англо-французской концессии, элегантных кварталов, пышных соборов, вилл в зеленых садах. Иностранцы уехали, и город опустел, наполнился новыми людьми. Огромный католический собор в центре — память о Франции — заперт на всякие замки. Часовые стоят у прочих церквей и соборов Порт-Саида — молящихся нет, они были изгнаны. Открыта лишь одна коптская церквушка, в ней группа школьников поет псалмы вокруг пианино. Мы вошли, за нами следом — двое вооруженных солдат: "Извольте выйти немедленно, сюда нельзя заходить". Так мне и не удалось понять, то ли берегут коптов от народного — мусульманского — гнева, то ли хотят сохранить их в изоляции.

Европейский квартал города угнетает. Красивые дома обшарпаны, их никто не ремонтирует. В центре — совершенно английский сквер, четырехугольная площадь, как в Кенсингтоне или Челси. Грустно видеть камень, переживший строителя и его род, дома, жители которых были вынуждены их покинуть — как палестинцы из Лифты, татары из Крыма, немцы из Кенигсберга. И неважно, что англичане построили свой Порт-Саид лишь сто лет назад. Заменить иноземцев туземными кадрами не удалось, и место французов и англичан осталось пустым и режет глаз. Но национализм жителей Порт-Саида не угас, да и начался он не в 1956 г. В апреле, когда весь Египет празднует День Весны, в Порт-Саиде встречают особый местный праздник — всю ночь напролет на перекрестках жгут чучела генерала Алленби, виконта Мегиддо, освободителя Иерусалима. Алленби правил Порт-Саидом как командующий британской армией в Египте и Палестине в дни Первой мировой войны. Из двух десятков опрошенных местных жителей никто не мог точно сказать, почему надо сжигать Алленби, да и кто такой был Алленби. Он смешался в памяти жителей с Лессепсом и английской королевой, короче: "заморский черт". Заметим, что обычай сжигать чучела из тряпок, набитые соломой, известен во всем мире, да и порт-саидцы жгут не только подобие Алленби. Но именно так этот день известен в Египте, и многие приезжают даже из Каира, чтобы сплясать у костров на улицах Порт-Саида.

Жители Порт-Саида голосуют за "Вафд", националистическую партию, которую в свое время разогнал Насер (после революции). Когда президент Мубарак вновь разрешил партии, порт-саидцы снова проголосовали за "Вафд". На вопрос "почему" они отвечали просто: Порт-Саид всегда голосует за "Вафд".

Порт-Саид пережил травму, и не одну: бегство европейцев, бомбардировку в 1956 г. долгие, тоскливые годы с 1967 по 1974, когда канал был закрыт, а напротив, с другой стороны канала, за болотами Балузы, стояли израильтяне. Это сказывается. В городе есть военный музей, посвященный в основном форсированию канала египетскими войсками 10 рамадана — в Судный День 1973 г. В этом музее не хватает только набитого

чучела израильского солдата и пары скальпов. На стенах висят картины местных баталистов: на них мужественный египетский солдат полусует, сладострастно улыбаясь, из автомата группу сдавшихся, поднявших руки израильтян. Или тот же солдат вкатывает штык до упора в женственного, безоружного израильского солдата. Реализм тут ни при чем: египтяне не так уж зверски себя вели и относились довольно хорошо к немногим израильским пленным.

И все же, несмотря на ностальгию и национализм, Порт-Саид — неплохой город. Сигареты дешевые, черный рынок действует вполне официально, а не украдкой, как, скажем, в Александрии. Множество ресторанов, дешевых гостиниц, оставшихся от греков и итальянцев. Сотни магазинов, продающих сувениры и западные товары: окно в Европу. Живой базар, простирающийся на несколько улиц, кровати, осьминоги, прочая морская живность. В кинотеатрах крутят западные фильмы. Мы пошли. "С дамой" можно было только на балкон — внизу кипела совсем дикая толпа — за полцены, как в лондонских театрах шекспировских времен (партер — относительно новое изобретение человечества). Но и наверху мы попали в толкучку. Народ входил, выходил, беседовал, курил, закусывал. Лента была истерта, похлеще пиратских видеокопий. Интересно, как они добиваются того, чтобы и цвет исчез и чтобы силуэты расплылись?

Напротив Порт-Саида — Порт-Фуад, сонный пригород, еще более зеленый и просторный, с яхт-клубом и резиденциями колониальной поры. Раньше Порт-Фуад был единственным египетским форпостом на синайском берегу канала, и автор этих строк должен был штурмовать его в середине октября 1973 г., однако планы переменялись, и Порт-Фуад остался городом-призраком без интересного прошлого. К востоку от Порт-Фуада — болота, которые и помешали израильтянам добраться до него в 1967 г. Сейчас там прорыт новый, второй фарватер канала и пригород стал островом. Но и Порт-Саид — тоже остров. Вход и выход в город ведут через таможню и полицию. По египетским меркам Порт-Саид — это порто-франко с почти беспошлинными товарами. Таможенники обыскивают на выходе, — удивительная вещь для всех, кроме египтян и выходцев из России. ●

Израэль Шамир

ПЕРВЫЙ БЛИН



1.

О советской фантастике написано не так уж мало. Есть толковые публикации, интересные и разумные, есть скучные и тупые. Но, кажется, не было книги о советской фантастике, про которую можно было бы сказать: автор попытался понять и осмыслить свой материал и написал то, что он думает. (Я, говорю, само собой, о книгах по-русски.)

В Советском Союзе появление такой книги исключено. Эмигрантские же литературоведы поминали до сих пор фантастику лишь вскользь.

И вот — первая книга.

Леонид Геллер издал ее первоначально по-французски в 1979 году под названием "О советской научной фантастике". Теперь, переработав книгу, автор выпустил ее на русском языке.

Книга построена как академическое исследование. Дав сжатое изложение своей концепции, автор поэтапно рассматривает фантастику: краткий обзор "фантастико-утопической линии" в русской литературе, затем очерк советской довоенной фантастики, далее — это основная часть работы — несколько связанных между собою глав о фантастике конца пятидесятых — начала семидесятых годов, и, наконец, небольшой очерк о современной советской фантастике, ее состоянии и перспективах.

Уже во введении, говоря о своих предшественниках в изучении советской фантастической литературы, Л. Геллер как бы намечает собственную задачу:

"Однако все эти дискуссии, все научные и критические работы не дают убедительного от-

вета на вопрос, в чем же заключается роль научной фантастики, что нового внесла она в советскую литературу" (стр. 5).

Автор, несомненно, предполагает дать ответ на этот вопрос.

Кроме того, в намерения автора входит "нащупать связи между миром научной фантастики и миром литературы "главного потока", проследить за изменением этих связей" (6).

Это — задачи.

Концепцию свою Л. Геллер тоже формулирует довольно четко. Он полагает, что "фантастика бурно развивается, когда приходит сознание сложности мира и недостаточности однозначных, чересчур рациональных его интерпретаций; когда ломаются установленные каноны; когда литература открывается влияниям извне" (372).

Исходя из этой концепции, Л. Геллер выделяет два периода расцвета советской фантастики: послереволюционный период, когда, по его мнению, бурно развивалась утопическая литература, и второй период — годы, которые обычно называют оттепелью.

Первый период закончился в 1936 году. "В 1936 году в СССР официально закончился переход к социализму: утопия стала действительностью — и действительность уже не нуждалась в утопии" (69).

"Новая фантастика могла родиться и родилась только после крушения цельного, прочного монополюсного мира, — когда была осознана возможность выбора новой, неизвестной реальности. И по рождению, и по развитию новая фантастика — литература оттепели" (364). Это второй период, концом его Л. Геллер полагает конец оттепели. Конкретно он называет 1968 год.

Итак, автор очертил круг своих интересов.

2.

Первым делом смущает язык, которым написана эта книга.

Вместо слово космический автор почему-то пишет "космонавтический" (284, 310), вместо рабочий-металлург — "рабочий-металлургист". Вместо того, чтобы сказать — нанести визит или, попросту, посетить, появляется удивительное словечко "визитировать" (387).

Конечно, мы догадываемся, что автор имел в виду, когда писал: "Бюхнер, Фогт, Молешотт стали предметом культа" (33) или "с почетом встречают его и признают ему титул брахмана" (343), но, с другой стороны, нужно сознаться, что написано это на каком-то ином языке, не на русском.

Время от времени начинает казаться, что автор просто шутит, подхватывая манеру зощенковских персонажей: "некоторые перегородки папи" (92), "книги эти читать почти невозможно, не будучи в мальчишеском возрасте" (73), "на страницах самых пессимистических писателей..." (42), "выхода из прогресса нет" (252).

Похоже, однако, что это не шутка. Подобных шуток я выписал десятки, пока читал книгу. Речь идет просто о недостаточном знании русского языка.

Есть и более неприятные вещи, тоже связанные с языком, с манерой изложения, выбранной Л. Геллером.

Он пишет как будто не словами, а блоками, лохматыми периодами, как бы и не делимыми на более мелкие смысловые элементы. Поток слов точно уносится в воронку водопровода.

Вот первые строки книги. Автор говорит о фантастике: "В Советском Союзе о ней написаны внушительные монографии, диссертации, обзоры, многие десятки статей и рецензий. Дискуссии о ней велись на страницах самых авторитетных газет и журналов" (5).

Как бы — все путем. Но давайте попробуем остановить поток однородных членов. Ну, например, задумаемся, что значат слова "на страницах самых авторитетных газет и журналов".

Какие газеты и журналы самые авторитетные в Советском Союзе?

Для кого — самые авторитетные?

Единственная газета в СССР, про которую можно сказать, что она "самая авторитетная", это "Правда". По крайней мере, в этом будет некоторый смысл.

"Правда" сроду дискуссией о фантастике не проводила. В журнале "Журналист", издающемся "Правдой", — тоже самый авторитетный журнал? — помню, были две разносные статьи о Стругацких (№№ 3 и 9 за 1969 г.), но вряд ли это можно назвать дискуссией.

Боясь, что Л. Геллер этого и не имел в виду. Он не имел в виду ни "Правду", ни "Журнали-

ста”, он вообще ничего конкретного не имел в виду. Он просто хотел сказать, что в советской печати имела место некая дискуссия о фантастике.

Зачем же тогда про самые авторитетные, позвольте спросить?

Я не придираюсь к словам, но слова-то ведь должны иметь какой-то смысл.

Вот еще пример. Я не буду комментировать – просто длинная цитата:

”И в то же время соцреализм – государственное учреждение – обладает огромной массой; избежать его притяжения в советской литературе способны немногие. Когда ослабевает центростремительная сила, засасывающая советское общество вокруг одной центральной точки, писатели и их творения могут оторваться от нее довольно далеко. Но это, в большинстве случаев, – эллиптическая орбита кометы, отдаление ее лишь предвещает неизбежный перигей” (162).

Или вот: ”Книга Чаюнова – одна из самых запрещенных и ненавидимых в Советском Союзе...”

Речь идет о повести А. Чаюнова ”Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии”.

Что автор хочет сказать этой странной фразой – ”одна из самых запрещенных”, – что она значит? Книга не издана в СССР? Ее опасно держать дома? Ее изымают при обысках?

Ничего подобного. Вы можете смело читать эту книгу в метро. Помню, я купил ее в букинистическом магазине у Главного Штаба, шел по Невскому, листая. Можете ссылаться на эту книгу в печати. Можно, кстати, даже прочесть об этой книге в Литературной Энциклопедии, том 8, страницы 448–449.

Поток слов временами ошарашивает, непонятно, что делать: обращать внимание на каждое слово? спорить? Дело, повторяю, не в конкретных ошибках – их тоже предостаточно, – речь о том, что слова, будто медные деньги, отсыпаются на вес...

”В трудной ситуации оказались братья Стругацкие. Когда их сатиры и антиутопии, отвергнутые советской цензурой, из самиздата попали в тамиздат, писатели не выдержали давления, отреклись от своих заблуждений и получили прощение” (380).

Что здесь сказать, как этот пассаж комментировать? Что Стругацкие ни от каких заблуждений не отказывались и никакого прощения не

получали? Стругацкие, как и Твардовский, и Шаламов, и Окуджава, согласились писать письма против своих западных издателей, что, мол, мы никого не просили, никому разрешения не давали, одним словом – пиратство.

Так было, и об этом, конечно, стоит говорить, но, право же, не с таким легкомыслием.

Проще всего уточнить, что никаких ”сатир и антиутопий” Стругацких, отвергнутых советской цензурой, на Западе не издавалось, за одним исключением. В ”Посеве” вышла повесть Стругацких ”Гадкие лебеди” (по терминологии Л. Геллера – антиутопия). Эта книга – да, отвергнута была советской цензурой. Но – это и все. На Западе изданы десятки книг Стругацких, однако все они перепечатаны с советских изданий.

Но что изменит такое вот конкретное замечание? Ничего. Фраза закрутилась – абзац за абзацем, бурля, устремляются куда-то по водопроводу.

Конечно, можно бубнить вдогонку потоку, в трубу (все подряд, не отделяя существенное от второстепенного):

что, например, в повести ”Хищные вещи века” не происходит ничего такого, о чем пишет Л. Геллер: ”...жители поголовно забрасывают свои дела, забывают о всех своих стремлениях, погружаются в мир снов наяву и отказываются из него выходить... власть переходит в руки тиранической элиты, но никому до этого нет дела” (261);

что ”Герцеговина Флор”, весьма символическое изделие в импозантной коробке, – не сигареты, как написано в книге (245), а папиросы;

что в повести ”Понедельник начинается в субботу” профессор Выбегалло – не эпизодический персонаж, не второстепенный, а один из важнейших (стр. 244: ”эпизодический персонаж профессора Выбегаллы, единственного в Институте шарлатана от науки...”).

Перечислять можно долго, однако давайте поглядим, куда же стремится автор, что он пытается нам доказать.

3.

Основная идея Леонида Геллера такова. Сравните, предлагает он, ”два определения: определение жанра НФ и общее определение искусства

соцреализма. Легко заметить, что определения эти вступают в неопреодолимое противоречие" (211).

Большинство произведений советской фантастики 60-х годов, по мнению автора, противоречат принципам социалистического реализма и по существу – марксистской философии.

Вывод:

"Новая фантастика искала альтернативу разным аксиомам официального мировоззрения" (366), "знаменовала собой победу над догмой соцреализма" (372).

Так ли это?

Так и не так.

И "победа над догмой", и "альтернатива" – все это так, но не фантастика, а литература вообще искала и побеждала.

Неудивительно, что декларируемое автором стремление рассматривать параллельно фантастику и литературу "общего потока" остается только словом, особенно, когда речь заходит о послевоенных временах.

Не удастся Л. Геллеру выделить фантастику из общего потока литературы, хоть он и прилагает к этому немалые усилия.

Точнее – без труда удастся выделить то, что зовется научной фантастикой. Это несложно. Тут все более или менее очевидно.

Сложности начинаются, когда Геллер делает попытку выделить в самостоятельную группу такие книги, как "Второе нашествие марсиан" или "Улитка на склоне" братьев Стругацких.

Для этого в первую очередь было бы необходимо указать некую специфическую область художественного исследования, область, доступную только таким вот книгам. Сделать это не удалось, и, как мне кажется, по вполне понятной причине.

Все то, что он говорит о Стругацких, можно сказать и об Аксенове, Искандере, Битове и даже Трифонове.

Задачи, которые каждый из них по отдельности ставил перед собой, были и разными, и в большой мере сходными. Во всяком случае, не вызывает сомнения, что творчество Стругацких развивалось, откликаясь на те же проблемы, живя тем же временем, что и творчество писателей-нефантастов. Сопоставление повести Стругацких "За миллиард лет до конца света" с трифоновским "Домом на набережной", с "Бедным Авросимовым" Булата Окуджавы, "Письмом" Александ-

ра Кушнера, "Сотниковым" Василия Быкова демонстрирует значительную близость этих книг. (Мне уже приходилось писать об этом.)

Но это еще не все.

Если бы случилось невероятное и Л. Геллеру удалось бы выделить два разных жанра, к одному из которых относился бы "Остров Крым" Аксенова, а к другому "Гадкие лебеди" Стругацких, это была бы лишь половина работы.

Чтобы доказать свою мысль о фантастике как о mine, подложенной под марксистскую философию, Л. Геллеру следовало бы продемонстрировать принципиальное отличие зарубежной фантастики от советской.

Советская фантастика, по словам Геллера, это литература оттепели. Отлично. В конце концов и поляк Станислав Лем простучивал стены, искал выход из камеры соцреализма, искал мировоззрение, альтернативное марксизму, но что тогда искали и ищут Бредбери, Уиндем, Воннегут, Кобо Абэ? Они, подозреваю, толком и не знают, что такое социалистический реализм.

Я не хочу сказать, что эти писатели ничего не ищут, упаси Бог. Я лишь хочу подчеркнуть несостоятельность тезиса о фантастике, как о брвене для протаранивания сген марксистской философии.

Кобо Абэ, Курт Воннегут – не таранят марксистскую философию, с закоренелой сталинско-ждановской эстетикой не борются, однако их произведения несомненно принадлежат той же ветви литературы, что и книги братьев Стругацких.

Если говорить попросту, то конечно, и фантастическая литература вступает в конфликт с догмой – но так же, как и нефантастическая; конечно, советская фантастика сопротивляется закоренелой эстетике – но точно так же, как и не-советская. Это не особенности фантастики, тем более советской фантастики, – это свойство литературы.

Теоретическая невнятность, мне кажется, заметно вредит книге Леонида Геллера.

С одной стороны, он утверждает, что "часть советской НФ осознает, наконец, свою функцию – ту, которую мы называли специфической функцией НФ, – и принимается исследовать возможности, альтернативы, неизвестное" (183). С другой стороны, он пишет, что "научно-фантастическая литература для писателей "новой волны" – лаборатория, в которой испытываются не науч-

но-фантастические идеи и не свойства альтернативных моделей мира, основанных на таких идеях. Объект экспериментов — наша действительность; их цель исследовать те ее свойства, которые с трудом поддаются наблюдению во внелабораторных условиях” (188).

То мы читаем, что “объект экспериментов — наша действительность”, то наталкиваемся на такое место: “Советский историк и социолог заметил, что “в каком бы времени ни развертывалось действие фантастического романа — безразлично, в прошлом, настоящем или будущем, — интерес к нему всегда связан с проблемами настоящего, современного, сегодняшнего дня”. В общем это верно. И все-таки интересно знать, что было когда-то и что случится в будущем” (133).

Постоянная путаница порождена неясностью представлений автора о самом объекте его исследования.

Известно, что существует литература, называющая себя научной фантастикой, некий жанр со своими особенностями, с достоинствами и недостатками, со своим полем деятельности, своими задачами, своими читателями.

Но одновременно существуют произведения, в которых фантастическое допущение — не более чем литературный прием. Я бы не решился очертить специфическое поле такой литературы, специфический круг читателей, специфические задачи, ибо, на мой взгляд, это сделать невозможно. Чем, скажите, “Бобок” отличается в принципе от других произведений Достоевского, в которых нет фантастических допущений?

О чем идет речь в книге Леонида Геллера?

Автор назвал свою книгу “Вселенная за пределами догмы” и снабдил подзаголовком: “Советская научная фантастика”. Казалось бы, тема определена однозначно. Однако на титульном листе книги подзаголовок уже другой: “Размышления о советской фантастике”. Похоже, что автор попросту не может четко определить предмет своего исследования. У компаса, который он вручает нам, нет стрелки, и мы вынуждены бродить по какому-то окутанному туманом острову, называемому НФ, следуя противоречивым указаниям Л. Геллера.

Впрочем, иногда думаешь, что лучше бы этих указаний и вовсе не было; как-то неловко читать, например, такое:

“Соцреализм не терпит смазанности, расплывчатости, неточности; читатель должен ощущать

крепящее сердце присутствие автора, постоянно-го и всеобъемлющего хозяина ситуации” (182).

Или:

“Отказ от категорической точки зрения автора, от его всеобъемлющего присутствия, — грубое нарушение законов соцреализма, — несомненно, главное литературное завоевание новой волны в “чистой” НФ” (183).

Смазанности, расплывчатости и неточности не терпит никакое искусство. Что касается присутствия автора, то он, собственно, не может не присутствовать. Не совсем ясно, что значит выражение “категорическая точка зрения”. Есть просто точка зрения, и по прямому смыслу слова писатель не может ее не иметь. Это точка, с которой он глядит на мир.

Есть некоторые “жанры” без точки зрения: акт, инструкция, протокол... Но искусство без точки зрения — это нонсенс.

Похоже, что Геллер просто отождествляет точку зрения с назидательностью. А назидательность — с нравственным идеалом. Вот, например, что он пишет об И. А. Ефремове (в лучшей, между прочем, главе своей книги): “Он (Ефремов) считает, что художник обязан учить жизни, искусство должно формировать людей и улучшать общество. Поэтому искусство может быть только назидательным” (357).

Ефремов, несомненно, был убежден, что искусство должно формировать людей и улучшать общество. Но не он один: так думали и Рабле, и Свифт, и Достоевский, и Толстой, и Гоголь, и Кафка. Так считают и Бродский, и Солженицын.

Правда, из этого совсем не следует, что “искусство может быть только назидательным”...

Пытаясь организовать литературу в соответствии с заранее придуманной концепцией, Геллер, по-моему, сводит на нет результаты своего труда.

Война определений, которая идет на страницах этой книги, существует отдельно от анализа произведений и никак с этим анализом не связана. Определения сшибаются между собой, а литература в сторонке наблюдает, как решится ее судьба, какое определение победит, кому будет принадлежать прекрасная дама.

Книга Леонида Геллера называется “Вселенная за пределами догмы”. Однако не только Вселенная осталась за пределами догмы, за бортом осталась и литература. ●

Михаил Лемхин

В России революция была
Исконнейшим из прав самодержавья
(Как ныне, в свой черед, утверждено
Самодержавье правом революций).
Крижанич жаловался до Петра:
"Великое народное несчастье
Есть неумеренность во власти: мы
Ни в чем не знаем меры да середины,
Все по краям да пропастям блуждаем,
И нет нигде такого безнарядья,
И власти нету более крутой".
Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра.
При добродушье русского народа,
При сказочном терпенье мужика,
Никто не делал более кровавой
И страшной революции, чем мы.
При всем упорстве Сергиевой веры
И Серафимовых молитв — никто
С такой хулой не потрошил святыни,
Так страшно не кощунствовал,
как мы.
При русских грамотах
на благородство,
Как Пушкин, Тютчев, Герцен,
Соловьев,
Мы шли путем не их,
а Смердякова —
Через Азефа, через Брестский мир.
В России нет сыновьяго преемства
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский
Олимп,
Куриль в их честь стираксою и серой

И головы рубить родным богам,
А год спустя — заморского болвана
Тащить к реке, привязанным
к хвосту.
Зато в нас есть бродило духа —
совесть
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного.
В нас нет достоинства простого
гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, —
рядом
С любим из европейцев — человек.
У нас в душе некошеные степи,
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, быльем да
своевольем,
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами: Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии — все творчество России.
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, —
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр — стрельцу,
Как Аввакуму — Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволье, и в самодержавье.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

БЕЗРАБОТИЦА —



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ